
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

В январе 1963 года, когда Виктору Кину, будь он жив, исполнилось бы шестьдесят лет, в Центральном доме литераторов в Москве устроили вечер его памяти. Никакой официальной части не было, пришли немногие люди, знавшие Кина лично, и многие, кто впервые услышал его имя в 1956 году, когда роман «По ту сторону» был переиздан после почти тридцатилетнего перерыва и как бы родился вторично. Никто не говорил по бумажке, не было ни намека на парадность, и вечер прошел так хорошо, что сама собой у многих товарищей возникла мысль, что надо бы издать сборник воспоминаний о Кине. И такой сборник, озаглавленный «Всегда по эту сторону», вышел в 1966 году. Его составителем и редактором был ныне покойный Семен Александрович Ляндрес, известный издательский работник, прекрасный человек, добрый и честный, принадлежавший к поколению чуть моложе Кина. Он не знал Кина лично, но работал над сборником с тактом и любовью.

Я тоже написала воспоминания для этого сборника, хотя мне было очень трудно это сделать. Сборник разошелся за несколько недель, и давно уже его невозможно достать, а многие люди присылают письма и просят. Поэтому теперь, когда мне опять случилось писать о пережитом, только более широко и подробно, я не смогла обойти многое из того, о чем уже рассказывала в этом сборнике. Воспоминания мои очень личные, и я вполне отдаю себе в этом отчет. У меня нет ни малейшей претензии на обобщения, на анализ и оценку исторических событий, на это я не имею никакого нравственного права. Но каждый человек, мне кажется, может что-то рассказать о своем времени, о близких людях, о товарищах и друзьях, о работе, о вкусах, о книгах, о том, как мы в молодости воспринимали события и поступки, чем увлекались, кого любили.

Мы с Кином были вместе почти четырнадцать лет, и я заранее прошу тех, кто будет читать эти воспоминания, извинить за то, что, рассказывая о нем, я невольно вынуждена буду немало говорить и о себе. Иначе не выйдет, потому что эти четырнадцать лет мы делили горе и радость, вместе увлекались работой, людьми и книгами, спорили и ссорились, и наши жизни были так тесно переплетены, что я по праву говорю «мы».

Вижу и помню — словно это не было так давно — совсем юного Кина, когда он работал в редакции «На смену»: худощавый, стройный, тонкие черты лица, подтянутость и изящество всего облика, галстук, широкий пояс, маленький бельгийский пистолет, с которым он никогда не расставался. И Кина в Москве, в комнате на Пречистенском (теперь Гоголевском) бульваре. Он — фельетонист «Комсомольской правды», два-три раза в неделю появляются веселые, лирические, насмешливые фельетоны; мы ждем ребенка, и Кин страстно хочет сына, но все время твердит: «Ну где там, разве моя старуха сумеет, обязательно родит девчонку». А потом телефонный звонок из лечебницы: «Черт побери, ребята, у меня сын!», — и охапка разноцветного душистого горошка... А потом работа

над «По ту сторону», Кин непрестанно курит и пишет по ночам на кухне, чтобы не мешать нам с малышом, однажды на кухне он убивает крысу. Роман близится к концу, мы обсуждаем каждый вариант, каждый абзац, и часто я упрашиваю Кина не выбрасывать какую-нибудь сцену, но он неумолим («Нет, это не лезет») и все равно выбрасывает, и поиски нужного слова, единственно точного, и вот он будит меня однажды ночью: «Ну, вот и конец», — и мы до утра не спим и начинаем перечитывать различные сцены романа.

И Кин в Италии — споры о социальной базе фашизма, черновые записи: «Я — автор, и моим оружием является презрение», отвращение к наглым фашистским бонзам («Я хочу дожить до того времени, когда их будут вешать на фонарях!») и прогулки с фотоаппаратом по развалинам древнего Рима.

И Кин в Париже в незабываемые дни февраля тридцать четвертого года, серая Сена, серое небо, серые, прокопченные дымом большого города здания, первые шаги Единого фронта, комсомольцы и молодые рабочие-социалисты братски обнимают друг друга во время демонстрации, конная полиция, кровь на мостовых. И каждые полчаса Кин по телефону передает в Москву, в ТАСС, лаконичную, насыщенную фактами информацию о происходящих событиях.

Так писать воспоминания все-таки нельзя, потому что получается абсолютная безалаберщина, и Кин первый выругал бы меня за «дамское рукоделье» или что-нибудь в этом роде. Но он выругал бы меня и в том случае, если бы я вздумала кропотливо, «в хронологическом порядке», рассказывать обо всем, начиная с первого знакомства и кончая страшной ночью на третье ноября тридцать седьмого года. А мне хотелось бы написать так, чтобы Кин мог, как бывало изредка, мягко и шутливо сказать: «Немножко обучил все-таки свою старуху...»

Попытаюсь из всего передуманного и пережитого выбрать то, что мне кажется самым важным в жизни Виктора Кина и в своей жизни, самым характерным для нашего поколения.

* * *

Екатеринбург (теперь Свердловск), январь 1924 года, страшные морозы. Масса людей собралась в клубе: партийный и комсомольский актив по традиции, как и каждый год, отмечает дату Кровавого воскресенья. Но почему-то собрание долго не открывают, в зале чувствуется какая-то напряженность, никто не понимает причин задержки, и это тревожит. Наконец на сцену, где должен сидеть президиум, выходит секретарь губкома партии. «Товарищи, — говорит он, и чувствуется, что старается говорить твердо, — товарищи, мы получили телеграмму... Скончался Владимир Ильич». Голос срывается, и больше он не может сказать ничего и стоит неподвижно, утирая слезы, и волна скорби и рыданий прокатывается по залу. Острое, беспощадное горе, нестерпимое чувство утраты. Потом начинают расходиться, выхожу и я на улицу, мороз дикий, слезы замерзают на ресницах, и иду, как слепая, не различая дороги, без мыслей, с чувством полной опустошенности. Потом меня нагоняет Кин, и мы в молчании доходим до моего дома. Говорить не о чем, слишком больно, просто надо пройти эти полчаса рядом.

Номер 4 (110) газеты «На смену», органа Уральского областного комитета РКСМ, которую редактировал Кин, был целиком посвящен памяти Владимира Ильича. Статья Кина открывает газетный разворот:

«...Смерть Ленина принесла нам не только величайшее горе, но и величайшую ответственность. Без Ленина мы должны стать еще упорней, еще тверже, еще осторожнее, потому что нет уже заботливой ленинской руки, исправляющей наши ошибки и промахи.

Теснее ряды, товарищи! Комсомольцы — наследники ленинского дела — должны помнить, что наша задача — смена уставшей, израненной старой гвардии ленинского поколения!»

* * *

Кин приехал в Екатеринбург 27 апреля 1923 года. С Дальнего Востока он вернулся в марте, ЦК дал ему короткий отпуск для поездки в Борисоглебск к

родным, а потом он получил назначение на Урал. Уже 13 мая на губернском съезде комсомола его избрали членом губкома, и он стал завполитпросветом. Первые месяцы жизни на Урале Кин тосковал. Каждые несколько дней он писал своему другу Антону. Антон — партийная кличка, речь идет о Константине Антонове, одном из организаторов пензенского комсомола, впоследствии одним из руководителей дальневосточного комсомольского подполья. Антон был замечательным работником и безукоризненным товарищем. Кин был глубоко привязан к нему. Матвеев в романе «По ту сторону» — это Антон, которому приданы некоторые черты другого товарища Кина по Дальнему Востоку — Виктора Шнейдера. Письма Кина к Антону, к счастью, оказавшиеся у меня, выразительно говорят о его работе, окружении, планах и настроениях. «Вероятно, природа дала мне очень ограниченный запас дружеских привязанностей, — писал Кин Антону, — кажется, на Дальнем Востоке я израсходовал его целиком и на Урал не осталось ничего. Живу, работаю, но никак не могу сойтись ни с одним из ребят. А ребята есть хорошие, душевные».

Кину казалось порой, что они с Антоном сделали «крупную глупость», уехав с Дальнего Востока. Он жил еще тамошними интересами, не мог сразу приспособиться к другому ритму работы и укладу жизни «в Сов. России» и порою хандрил. Впоследствии, когда Кин писал роман, эти настроения были удивительно точно переданы в главе «Безайс и романтика».

«Я знаю многих, — говорил Безайс, — которые будут завидовать нам от всего сердца. Сейчас у нас что-то вроде каникул. Там, в России, фронты кончились, и люди взялись за другие дела. Я видел своими глазами, как на вокзалах ставили плевательницы и брали штраф, если ты бросаешь окурки на пол. Это веселое, бестолковое время, когда утром работали, а вечером шли к мосту на перестрелку с бандитами, там кончилось. А мы взяли и опять уехали в девятнадцатый год...»

Кин-Безайс принадлежал к поколению людей, которым к моменту Октябрьской революции едва исполнилось четырнадцать — пятнадцать лет. Ее пламя навсегда обожгло их, они не мыслили себя вне революции, они считали себя законными преемниками «уставшей, израненной старой гвардии ленинского поколения». Вероятно, отсюда их удивительная цельность и целеустремленность, отсюда же — революционная романтика.

И еще одна примета времени — легкий, шутивно-иронический тон. Кин писал Антону: «Нравственно разлагаюсь. Позавчера опустил до покупки шевровых ботинок. Дошел до такого дна, как собственная подушка. Чем только это кончится — не знаю. Единственным сдерживающим центром служит фотография». Эти строчки по интонации кажутся мне удивительно «безайсовскими».

Однако мало-помалу настроение у Кина улучшалось. После перехода на работу в редакцию (июль 1923 года) он повеселел. Газета выходила раз в неделю, живая, многополосная, с множеством иллюстраций и карикатур. Впоследствии она стала выходить раз в три дня. Сохранилась подшивка, перелистываешь ее и решительно во всем — от передовой до «почтового ящика» — ощущаешь то неповторимое время. Из номера в номер — героическая тема борьбы международного пролетариата, работа уральского комсомола, обязательная страница «Молодая деревня», популярные научные статьи, отрывки из художественных произведений (Горький, А. Н. Толстой, Серафимович, Эптон Синклер, О. Генри, Джек Лондон). Стихи, разные дискуссии, кажущиеся сейчас ребячески-наивными, но тогда волновавшие молодежь (должны ли девушки снимать головные уборы во время исполнения «Интернационала»? Подавляющее большинство откликнувшихся отвечает: «Да, должны»), очень активная антирелигиозная пропаганда, библиография, раздел «Чтобы все знали», где сообщалось об исключенных из рядов комсомола за пьянство или хулиганство и т. д. В каждом номере дается словарь встречающихся в тексте иностранных слов, регулярно идут «Вопросы и ответы», которые показывают, с каким доверием молодые читатели обращаются в редакцию своей газеты по самым разнообразным поводам.

В одном из писем Кин признавался Антону, что ничто не может доставить ему большего удовольствия, чем когда хвалят «На смену». Он был прирожденным газетчиком, вкладывал в газетную работу много любви, инициативы и темперамента. Так было на Урале, и в «Комсомольской правде», и в «Журналь де Моску». Характерно, что Кин всегда считал журналистику своей основной профессией, роман «По ту сторону» он написал «просто потому, что так захотелось», и уже после опубликования и успеха романа Кин, не задумываясь, вернулся к журналистике, перейдя на работу в ТАСС.

* * *

В 1923 году Кин сделал шуточный плакат, который, как мне кажется, представляет собою очень характерный для него документ, и мне хочется описать его подробно. Вверху слева: «6.IX.1920» — дата вступления Кина в партию. Фотография Кина (контуры головы), красный пионерский галстук. Рядом — фотоаппарат, значок «КИМ», крупным шрифтом набранное: «Маяковский», зеленый абажур для настольной лампы, обертка от пачки махорки. Над головой Кина — заголовок газеты «На смену», трубка, орудия производства: ручка, чернильница, редакционные ножницы, красный карандаш. Листок из записной книжки, тезисы к докладу т. Суровикина о работе РКСМ летом. Вызывающий лозунг: «Табак — лучший друг человека». Вверху, справа, в облаках — вуз. Где-то внизу, под Маяковским, фотоаппаратом и пр., — наклеен бумажный рубль с надписью «бюджет». Около трети плаката отделено широкой сине-желтой полосой, на которой большими буквами написано: «ДОЛОЙ». Сюда попало многое: математика (вспомним, как ненавидел Безайс математику и как это описано в незаконченном романе о журналистах), семейный очаг — орущий младенец, самовар, ложки, пузырьки с лекарствами, пуговица; театр, поэты «Кузницы» Герасимов и Кириллов, критик-напостовец Лелевич — у Кина были очень определенные литературные вкусы. И, наконец, внизу плаката, там, где как бы подводятся итоги, — браунинг и парабола кипучей жизни Кина: условная человеческая фигурка с баульчиком в руке, вся — движение от точки «Варшава» к точке «Владивосток».

В этом плакате, веселом, остроумном и задорном, чувствуется своеобразный и уверенный стиль, и, в сущности, все основные элементы плаката отнюдь не гротеск, а очень верное, тонкое, милое и юмористическое отражение вкусов и настроений двадцатилетнего Кина.

Семейный очаг, впрочем, скоро появился. О первой встрече моей с Кином можно сказать и много и мало. Это произошло на вечеринке в комсомольском общежитии на Васнецовской улице, где тогда жил Кин. Случилось так, что разговор зашел о литературе, Кину неожиданно попалась собеседница, которая слушала его до двух часов ночи с неослабеваемым интересом и некоторым пониманием, и он был доволен. В тот вечер много говорили о скандинавах — Ибсене, Гамсуне, Бьернсоне. Ибсена Кин впервые прочел на Дальнем Востоке. В дневниках сохранилась запись об этом, она мне кажется очень интересной.

«Свободный, 14.II-22 г.

Помню, как-то давно я пробовал взяться за Ибсена, но тотчас же отказался от этой затеи. Он показался мне донельзя скучным и серым. Здесь, в Свободном, я совершенно случайно начал читать его, заинтересовавшись заглавием («Союз молодежи»). И он сразу захватил меня. Ясно, что это писатель глубоко буржуазный. Его пьесы насыжены пропитаны буржуазным либерализмом и идеализмом. Место действия — круг буржуазии средней руки. Но зато — какая неподражаемая, захватывающая живость, яркость и сила его пьес!

Вообще я думаю, что точная копия существующего не есть искусство. Право, это скучно. Именно потому мне графика нравится больше чистой живописи. Кроме того, я ненавижу читать пьесы. Но Ибсен! Я плюнул на все: на идеализм, на буржуазность, на форму изложения и читал, читал — каждый день до 3—4 часов утра. Я прочел «Союз молодежи», «Кукольный дом», «Призра-

ки», «Враг народа», «Дикая утка», «Дева моря», «Гедда Габлер», «Росмерсгольм», «Столпы общества», «Маленький Эйольф» за три дня... Я не успокоюсь, пока не прочту его всего!»

* * *

Эту увлеченность книгой Кин пронес через всю жизнь. Когда мы переехали в Москву, книжное хозяйство не было, видимо, еще полностью налажено. Во всяком случае существовало несколько огромных подвалов, где были свалены горами прямо на полу тысячи томов книг, преимущественно на иностранных языках, но встречались и великолепные русские издания. Возможно, это были книги, реквизированные у каких-нибудь белоэмигрантов, не знаю, и не помню, где эти склады находились, — но отлично помню обстановку. Иногда Антон или Кин получали туда пропуск на несколько человек с разрешением отобрать и купить, что понравится. Отправлялись мы туда обычно вчетвером — Кин, Антон, борисоглебский товарищ Кина Ипполит и я. Электрический свет, огромное помещение, никаких полок, столов и стульев, никаких продавцов. Мы рассаживались на полу и начинали рыться в этих жемчужных россыпях. Было много книг с замысловатыми экслибрисами прежних владельцев, книги разной степени сохранности, у некоторых переплеты, обглоданные мышами, некоторые в кожаных с золотым тиснением или элегантных замшевых переплетах, чаще попадались разрозненные тома, но изредка — полные комплекты. Особенно много было французских книг, изданий восемнадцатого или девятнадцатого века, порой встречались совсем старинные, с металлическими застежками.

Каким наслаждением для нас были дни, проведенные в этих книгохранилищах, — впрочем, слово не то, — это не книгохранилища, не склады, а пещеры, куда мы отправлялись в поисках клада. К бескорыстному наслаждению применялся своего рода спортивный азарт: кому больше повезет! Постепенно у нас с Кином накопилось много сокровищ: различные издания «Жиль Блаза» и подражания ему (русские, немецкие Жиль Блазы), «Хромой бес» издания начала восемнадцатого века, очаровательный «Гептамерон» Маргариты Наваррской, превосходный экземпляр романа Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», — кстати, Кин решительно предпочитал эту вещь роллановскому «Кола Брюньону», и, наконец, наш «Черный бриллиант» — великолепное прижизненное издание Вольтера — сто томов маленького формата в переплетах из светлой кожи.

Разумеется, в поисках книг мы не могли ограничиваться «пещерами», да туда и не всегда пускали. Зато хоть каждый день можно было бродить вдоль Китайгородской стены у Ильинских ворот. Здесь на развалах продавались книги, преимущественно на русском языке, попадалось много замечательных изданий.

Крупным событием было открытие Мультатули. Его замечательный роман «Макс Хавелар» открыл для себя и для всех нас наш новый друг Гриша Литинский. Кин с восторгом читал и перечитывал книгу Мультатули — «гражданская» тема в литературе всегда увлекала его, а тут еще было произведение самого высокого класса. И «Макс Хавелар» встал в тот ряд, где первое место занимал несравненный «Тиль Уленшпигель» — книга, которую Кин любил страстно.

Большим событием была и скандинавская «Эдда» в сабашниковском издании, — ее нашел сам Кин. Он вообще любил мифологию и эпос, Гомера, былин, «Нибелунгов», наивную и героическую «Песнь о Роланде», греко-римскую мифологию. Но «Эдда» заняла совершенно особое место. Кин читал ее вслух и не переставал восхищаться выразительностью, лаконизмом и трагическим величием первой песни, «Прорицания провидицы»:

Залаял пес Гармр у пещер Гнипагэллара:
Узы расторгнуты, вырвался Волк!
Много я знаю; вижу я, вещая,
Грозно грядущий жребий богов.
В распре кровавой брат губит брата;

Кровные родичи режут друг друга:
Множится это, полон мерзости мир.
Век сейир, век мечей, век щитов рассеченных,
Вьюжный век, волчий век — пред кончиною мира...
Ни один из людей не щадит другого.

Кин не раз вспоминал и цитировал «Эдду», говоря об идеологии фашизма. Кроме того, он говорил друзьям о «Прорицании провидицы» как о блестящем примере того, как переводчик владеет искусством аллитерации, — эти вопросы всегда живо интересовали его.

Говорить о литературных вкусах Кина можно бесконечно долго, потому что они были отчетливы, разнообразны, и еще потому, что с первой нашей встречи на Васнецовской и до конца литература органично входила в нашу жизнь. К книгам, так же как и к людям и поступкам, Кин относился активно: знал, что любит и чего не любит, и отстаивал свои вкусы со свойственным ему полемическим темпераментом. Он не терпел того, что называл «мистифицирующей манерой изложения». В это понятие входили ложная глубокомысленность, психологические дебри, фраза, за которой нет настоящей мысли. Он любил прозрачную, лаконичную, насыщенную прозу Пушкина, Лермонтова, Стендаля, Мериме, любил Бальзака, Мопассана, Франса. Какой-то другой стороной души он страстно любил «Жиль Блаза», «Гаргантюа», «Дон-Кихота» и «Кандида».

Из наших классиков Кин очень любил и часто перечитывал Гоголя и Щедрина, некоторые романы Тургенева, в особенности «Отцы и дети». Из современников, кроме Маяковского, он очень любил Багрицкого, высоко ценил фадеевский «Разгром», «Зависть» Юрия Олеши, «Интервенцию» и «Наследника» Славины, «Сердце» Ивана Катаева, великолепную публицистику Ларисы Рейснер. Вообще же он читал массу книг — плохих и хороших, — у него была полушутливая теория, что плохие книги тоже надо непременно читать, так как это практически полезно: показывает, как не следует писать.

Я не упомянула о том, как любил Кин английскую и американскую прозу. Из современников он успел прочесть и оценить «Фиесту» и «Прощай, оружие» Хемингуэя, романы Вудворта, Дос-Пасоса, Честертона. Книги Твена и О. Генри были почти настольными, Кин очень любил Киплинга — и прозу, и баллады. Совершенно особое место занимал Диккенс. Диккенсовский юмор, афоризмы Самуэля Уэллера (тогда была принята такая транскрипция) — все это было обиходным, как, например, знаменитое выражение «в пикквикском смысле». Алексей Максимович Горький, который очень хорошо отнесся к роману «По ту сторону» и к самому Кину, поддразнил его, однако, когда Кин был у него в Сорренто, за «приверженность к английскому юмору». Это была истинная правда, и из писателей только один Алексей Максимович подметил ее. Еще в Борисоглебске ребята говорили: «Мистер Кин», «Мистер Иззи» (Ипполит), кого-то, не помню уж, из литераторов иначе не звали, как Урия Гип. Молодой Кин даже подписывал иногда свои письма друзьям «В. Кин, эсквайр». Впрочем, еще чаще он называл себя «добрым санкюлотом». В тридцатых годах в Париже «добрый санкюлот» любил, когда удавалось засветло оторваться от напряженной тассовской работы, бродить по набережным Сены и, как бывало в Москве, рыться в книгах, обмениваясь всякими «профессиональными» замечаниями с букинистами, среди которых встречались настоящие знатоки и любители. Немало хороших книг Кин привез из Парижа.

* * *

Памятная веха в жизни Виктора Кина — время «Комсомольской правды». Впервые создавалась большая, ежедневная комсомольская газета. Первым редактором был назначен Александр Слепков, но скорее номинально, фактическим же (а потом и официальным) редактором, организатором и душой газеты был замечательный человек и журналист Тарас Костров. Кина пригласили на работу в «Комсомольскую правду» за несколько недель до начала выхода ее в свет, когда подбирались основная группа сотрудников, было это весной 1925 года.

Через некоторое время попала в газету и я, вначале заменяла товарища, ушедшего в отпуск, а потом меня неожиданно вызвал Костров, как всегда ласково пошутил со мной и спросил, не хочу ли я остаться на постоянной работе в редакции, и, если хочу, он обещает сделать из меня газетчика, только надо будет его слушаться. Костров говорил душевно, мило и благожелательно. Никогда не забуду, как он сдержал свое слово и обучал меня, терпеливо, внимательно и умело. Но однажды был случай, когда Костров, при всей своей мягкости, рассердился: я расплакалась из-за того, что не пустили подготовленную моим отделом (пионерским) полосу, так как ее вытеснил более важный материал. Попало мне тогда от него, да еще Костров рассказал об этом Кину, и тот долго издевался, утверждая, что я «ревела, как белуга».

Тараса Кострова все в редакции горячо любили. Был он не просто бесребреником, но человеком, совершенно не умевшим и не желавшим хоть немного подумать о себе. Ходил он в какой-то потрепанной тужурке, и однажды против него устроили заговор: кассир не выдал ему жалованья на руки, а зато ему за глаза купили новый костюм. Костров совершенно растерялся, но не захотел прекратиться со всем коллективом. Впрочем, через несколько дней костюм почему-то выглядел потрепанным, и больше мы таких экспериментов с туалетами своего редактора не проделывали.

Как все мы любили свою газету, как много душевного горения вкладывали в работу! Когда вышел сотый номер, в нем был напечатан один из лучших фельетонов Кина, так и называвшийся «Сотый». Весь номер носил какой-то праздничный характер, а вечером в редакции сдвинули столы, убрали папки и чернильницы, украсили комнаты цветами, приготовили ужин, вино. Пришли все — от редактора до уборщицы. Настроение было замечательное, газета за несколько месяцев завоевала громадную популярность и авторитет среди молодежи, работа давала большое удовлетворение, внутри самой редакции царила атмосфера подлинного товарищества.

Кин не только сам писал фельетоны, он привлекал к сотрудничеству в газете других товарищей, подсказывал темы, на первых порах, если нужно было, не только правил, но буквально переписывал чужие фельетоны. Не всегда его старания увенчивались удачей, но нескольких талантливых людей он нашел, и они регулярно печатались. Среди них был Павел Гугуев, который долго жил у нас на Пречистенском бульваре, потому что у него в то время не было своего пристанища. Он был тяжело болен, у него был жестокий туберкулез, и он рано погиб. Назову еще одного очень одаренного человека, — это был Вадим Охременко.

Однажды мне самой пришлось обратиться к помощи Кина, и он спас меня от грозившего позора. Мне заказали для журнала «Революция и культура» материал о каких-то сектантах, и я легкомысленно согласилась, не учтя того, что нужна была не статья, а очерк. Что это было! Статья бы получилась, материал интересный, но очерков я писать решительно не умела, никогда не пробовала и теперь столкнулась с непреодолимыми для меня трудностями этого жанра. Коротко говоря, я не смогла написать ничего, получалось скучно, протоколно и вяло, а отказаться было уже невозможно: очерк был вставлен в план номера. И вот на моих глазах за каких-то два часа Кин переделал всю мою беспомощную писанину в настоящий очерк. Разумеется, больше никогда в жизни я за очерк не бралась.

* * *

В 1926 году Кин начал работать фельетонистом в редакции «Правды» — более серьезная, более ответственная работа. Но «Комсомолка» оставалась первой любовью, о ней он думал, когда в тридцатых годах начал писать роман о журналистах. При аресте Кина все рукописи забрали и уничтожили, но случайно сохранились разрозненные листки, из них удалось сделать мозаику, и отрывки из этого романа, которому Кин не успел дать названия, опубликовал в 1959 году «Новый мир». Кин не успел также придумать имена всем персонажам, в романе

фигурируют Розенфельд, Моров, Мифасов, действительно работавшие в те годы в «Комсомольской правде». Роман автобиографичен, герой его — Безайс, вернувшийся после Дальнего Востока в Москву. События романа в основном верно отражают реально происходившие в те годы в жизни Кина и его друзей события. Одна из основных сюжетных линий — острая внутривнутрипартийная борьба. Впрочем, роман и по времени и по масштабам выходил за рамки работы в «Комсомольской правде», так как Кин довел действие до тридцатых годов (в частности, Безайс еще с одним товарищем ездили в деревню на коллективизацию — так и на самом деле было). Главной идеей романа было показать духовное мужание и рост ребят поколения Безайса, показать, как, сохраняя романтические идеалы своей юности, они постепенно приобретают опыт, серьезную идейную закалку, как овладевают теорией и как все это преломляется в жизни. В этом смысле, употребляя теперешнюю терминологию, можно сказать, что роман был высокоинтеллектуальным, насыщенным политическими и литературными интересами Кина и его друзей.

Но был этот роман и лирическим. Всю свою любовь к газете, уважение к делающим ее людям Кин сумел выразить лаконично, порою с оттенком свойственной ему легкой иронии, но с большим, подлинным чувством. Вот, например, как звучит отрывок о секретаре редакции:

«Странное это дело, но вот за полтора десятка лет работы, проведенных в разных редакциях, с самыми разнообразными людьми, Берман еще ни разу не видел «хорошего номера», в котором ничто не нарушало бы гармонии шрифтов, рисунков и верстки. Всегда надо было что-нибудь поднять, отодвинуть или выкинуть. «Хорошего номера», наверное, никогда не было на свете, да и не будет. Это миф, отвлеченная мечта о недостижимом величии, невозможная, как философский камень или вечный двигатель. Но таков закон всякой работы — надо шире размахиваться, надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое».

Это — жизненная философия Виктора Кина, которой он был неизменно верен: «Надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое».

* * *

Период Института красной профессуры — 1928—1930 годы. Только что вышел роман «По ту сторону». Но Кин не из тех людей, кто мог бы соблазниться писательскими лаврами, он из тех сил готовится к экзаменам, а экзамены предстоят серьезные: философия, политэкономия, русская и западная история. В 1928 году литературное отделение только создавалось, организовывал его И. М. Беспалов, слушатель философского отделения. Кажется, первым мысль о создании литературного отделения ИКП высказал Анатолий Васильевич Луначарский, возглавил это отделение В. М. Фриче, он читал и лекции, но недолго: в 1929 году он умер.

На первом курсе только что организованного отделения училось всего шесть человек: Ваня Беспалов, Виктор Кин, Саша Зонин, Володя Григоренко, Щукин и вскоре умерший Щелканов. В основном занимались философией и литературоведением, семинары вели В. Ф. Асмус и В. Ф. Переверзев, несколько лекций по эстетике прочел Луначарский. У Кина началось время страстного увлечения философией. Интерес к ней возник еще в Борисоглебске: пятнадцатилетние Кин, Ипполит и их товарищи кое-что по философии читали. В ранних юношеских дневниках Кина встречаются ссылки на Энгельса, Канта, Шопенгауэра, Ницше. Исторические работы Маркса Кин уже в екатеринбургский период знал отлично. Однако настоящее изучение философии началось только в период подготовки к экзаменам в ИКП. В это же время Кин штудировал «Капитал» (в 1924 году он завидовал Антону, который поступил в университет и мог «вовсю» заниматься «Капиталом»). У меня на полке стоит «Капитал» с подчеркиваниями и пометками Кина. Достаточно просмотреть этот том, чтобы убедиться, как основательно и увлеченно — как и все, что он делал, — штудировал его Кин.

Сохранились некоторые институтские работы Кина: «Диалектика формы и содержания в эстетике Гегеля» и «Образ нигилиста в творчестве Тургенева».

Мне очень хотелось бы рассказать о Ване Беспалове и Пете Рожкове, близких друзьях Кина по ИКП, но я подробно писала о них в сборнике воспоминаний и сейчас скажу только несколько слов. Ваня Беспалов, уралец, в 1921 году поступил в Свердловский коммунистический университет и вместе с группой других свердловчан присоединился к делегатам X партийного съезда и принял участие в подавлении Кронштадтского мятежа. В ИКП он начал учиться в 1926 году и ко времени знакомства с Кином свободно читал Маркса и Энгельса в подлиннике (Кин страшно ему завидовал, так как сам не знал немецкого), свободно ориентировался в сложных вопросах философии и эстетики. Они с Кином очень сблизились, хотя и спорили нередко, так как были людьми разного темперамента: Кин упрекал Ваню за мягкость, а тот его за запальчивость. Но их очень многое объединяло — в частности, глубокая любовь к Маяковскому.

Второй близкий друг Кина по ИКП, Петя Рожков, был человеком совсем иного склада, чем Ваня. Петр Данилович Рожков был односельчанином Михаила Ивановича Калинина. В деревне у Рожкова оставались сестры, набожные до фанатизма, он говорил об этом с яростью («порубить их, что ли?»), но по складу характера и сам был фанатиком. У него были резкие черты лица, отрывистая речь, и при всем том он был добрым и порою застенчивым, хотя это и пряталось под показной бравадой. На подаренном Кину экземпляре своей книжки «Нужна ли нам романтика?» Рожков написал: «Чтобы победить в борьбе, во-первых, необходимо знать, куда вести дело, т. е. необходимо иметь п р и н ц и п ы, во-вторых, необходимо страстно мечтать». В этой надписи — весь Рожков. Он был человеком редкой цельности, и это сказывалось порою в смешных и трогательных мелочах. Когда Кин спросил в письме, что привезти Пете в подарок из-за границы, тот ответил, что ему нужен только черный галстук, так как такие галстуки любил Владимир Ильич.

Рожков поступил в ИКП годом позже, чем Кин. С ним вместе учился Марк Гельфанд, одареннейший человек с тонким литературным вкусом, очень способный лингвист. Он был сыном врача, родом из Балашова. Со слов товарищей (сам он никогда не говорил об этом) я узнала об одном эпизоде его юности. С раннего детства Марк страдал тяжелой бронхиальной астмой. В годы гражданской войны он вступил добровольцем в Красную гвардию, однако вскоре с ним случился тяжелый приступ астмы, его отправили в госпиталь и тут же демобилизовали. Тогда Марк выстрелил в себя, оставив записку, в которой говорилось, что, если он не может быть бойцом революции, жить не стоит. Врачи выходили Марка, потом его дело стали разбирать по партийной линии. Решили, что он заслуживает исключения, но ввиду возвышенности мотивов, толкнувших его на попытку самоубийства, из партии, разумеется, не исключили и не наложили партийного взыскания.

Так относились к миру молодые, восемнадцати-девятнадцатилетние парни: незачем жить, если нельзя быть солдатом революции. Вспоминаю Матвеева из «По ту сторону», да и Кин много раз говорил, что человеку, оказавшемуся за бортом революции, жить не стоит. Это не упадочничество и не малодушие, а что-то совсем другое, идущее из глубины души. Помню, что Марк Гельфанд, несмотря на тяжелую болезнь, мучившую его всю жизнь, отличался редкой трудоспособностью и настойчивостью, он массу читал, в нем был какой-то врожденный эстетизм, книгу он любил страстно, очень чувствовал стихи.

* * *

Зимой 1930 года, кажется в конце января, в нашу квартиру на Плющихе пришел Маяковский. Это было большое событие. Никем и никогда Кин так безоговорочно не восхищался, как Маяковским. Он пришел со своими друзьями — Н. Н. Асеевым, О. М. Бриком, С. М. Третьяковым и В. А. Катаняном. Были, разумеется, Беспалов, Рожков, Гельфанд и, кажется, Зонин.

Кин до этого был уже лично знаком с Маяковским, встречался с ним несколько раз, кажется, Маяковский и на Плющихе уже побывал, но я не была тогда в Москве и не знаю подробностей. А сейчас напишу о том, чему сама была свидетельницей.

Все началось с очень смешного инцидента. Один из наших гостей предвзительно позвонил Кину с просьбой увести куда-нибудь нашу овчарку: он боялся собак. Кин сказал об этом мне, и я закрыла Вольфа в самой дальней комнате. Гости явились все вместе, наши уже ждали их, все прошли в первую комнату. Минут через пять я услышала чей-то визг, сердце у меня упало, я побежала на голос, распахнула двери и застала такую картину: Маяковский лежит на моей тахте, задыхаясь от смеха, все хохочут, а Вольф положил лапы на плечи того самого товарища, который просил, чтобы собаку увели. Господи! Вероятно, безошибочный собачий инстинкт заставил Вольфа кинуться именно на него (впрочем, без всяких злых намерений). Я влетела в комнату в полной панике, Кин, который смеялся чуть не до слез, сказал: «Познакомьтесь, это моя жена», — но мне было не до гостей, я схватила Вольфа за ошейник и увела. Это происшествие настроило всех на веселый лад.

Я не знаю, о чем говорили в той комнате, но потом все перешли в столовую. Маяковский спросил, где наш сын. Левушка был немного простужен и сидел у себя в кроватке; Маяковский все же захотел поглядеть на него, и мы пошли в детскую. «Здравствуй, — сказал ему Маяковский, — ты меня знаешь?» — «Нет, не знаю, вы к нам не приходили, а вы кто?» — «Я — Маяковский». На это последовал неожиданный ответ: «Конечно, знаю, я вас читал». Мальчику было тогда четыре с половиной года. Маяковский был поражен: «Что ты говоришь, что ты читал?» И тут выяснилось, что он в самом деле умеет читать и читал детские стихотворения Маяковского. Тот был в совершенном восторге. Когда мы вернулись в столовую, он несколько раз повторил: «Понимаете, клоп, от земли не видно, а говорит: я вас читал. И действительно читал». Через несколько дней Маяковский прислал мальчику чудесный подарок — немецкую железную дорогу: поезд, семафоры, световая сигнализация и т. д. Видимо, он был очень тронут встречей со своим маленьким читателем.

Ужин прошел непринужденно и весело. Помню, что Маяковский читал стихи, написанные им когда-то в Бутырках. Маяковского до того вечера я видела только в Политехническом музее. В домашней обстановке он был совсем иным — милый, добродушный, очень простой, бесконечно обаятельный. Здесь он не казался трибуном, блестящим полемистом, он держался так, словно бывал у нас много раз, естественно, дружески, внимательно и деликатно.

В то время Кин готовился к отъезду: он должен был выехать на весеннюю посевную кампанию в Хоперский округ в качестве редактора выездной газеты «За большевистский сев». Это была газета на колесах, для нее оборудовали специальный вагон, где помещались и редакция и типография. Маяковского очень интересовала эта поездка, и он хотел принять в ней участие. Однако, когда Кин выехал из Москвы в двадцатых числах февраля, Маяковский с ним не поехал: его задерживали репетиции феерии «Москва горит» в Московском цирке. Он все-таки надеялся присоединиться к Кину позднее, и я по телефону сообщала ему о передвижениях вагона-редакции. В марте сев на юге был закончен, и газету перебросили на Урал. За несколько дней до смерти Маяковского я позвонила ему, сказала новый адрес. Он относился ко всему этому с живым интересом, хотел все-таки поехать, просил написать об этом Кину. 14 апреля мы узнали страшную весть, я телеграфировала Кину, он выпустил номер газеты, где говорилось: «Умер величайший поэт пролетарской революции», — а над вагоном вывели траурный флаг. Смерть Маяковского была для Кина большим горем.

* * *

В начале июня 1931 года мы всей семьей уехали за границу, в Италию. Кин закончил занятия в Институте красной профессуры, работа фельетониста ему

уже несколько приелась, хотя своей профессии журналиста он не изменял никогда. В это время Кин был увлечен работой над романом «Лилль» — о первой мировой войне. Тема романа требовала не только книжного знания Западной Европы, нужен был какой-то разгон, какая-то перемена, и Кин охотно согласился поехать в Рим корреспондентом ТАСС.

Подготовка к отъезду, оформление, визы и так далее заняли не много времени. Кин заглядывал в библиотеки, знакомился с тассовскими архивами, касавшимися Италии. Вообще же мы, как оказалось впоследствии, довольно правильно, хотя и не очень конкретно, представляли себе тамошнюю обстановку. Должна сознаться, что, когда мы готовились к отъезду, я не придумала ничего умнее, чем составлять подробные конспекты по истории итальянской живописи. Мне казалось, что это совершенно необходимо. Кроме того, я решила, что надо быть элегантною, и с этой целью купила себе белую шелковую косыночку. (В Вене сотрудник полпредства, встретивший нас на вокзале, сказал, что в таком виде в гостиницу даже показаться нельзя, — пришлось прежде всего отправиться в магазин и купить соломенную шляпку. Забегая вперед, скажу, что в Риме я вела себя ничуть не умнее: первое платье, которое я там купила, было черное шелковое, совершенно закрытое и строгое, — это в адскую летнюю жару — и чулки я тоже попросила черные, но мне любезно объяснили в магазине, что черные носят только во время траура.) Все это, разумеется, пустяки, но ведь и в пустяках сказываются приметы времени, а мне хочется, ничего не приукрашивая и не стилизуя, рассказать, какими мы были и как вели себя летом 1931 года.

А теперь снова возвращаюсь к книге. Среди книг, за которыми мы охотились, среди наших любимых писателей почти не было итальянцев. Мне было бы, конечно, приятнее сказать по этому поводу что-либо иное, но я дала себе слово даже в мелочах не отступать от правды, а это отнюдь не мелочь. Итак, что мы знали об итальянской литературе? В сущности, совсем немного. В детстве все, разумеется, читали и увлекались романом Джованьоли «Спартак», но вряд ли его перечитывали. Такая же судьба постигла и Де Амичиса: его знаменитая книга «Сюге», называвшаяся у нас «Дневник школьника», очень нравилась тем, кто читал ее лет в десять, но уже в пятнадцать (я пробовала) она оставалась читателя равнодушным. В «золотой фонд» нашей литературы входил «Декамерон» — это считалось классикой, и Боккаччо мы очень любили. Благодаря театру знали некоторые пьесы Гольдони, а «Принцесса Турандот» Карло Гоцци, поставленная Вахтанговым, стала радостным событием для множества людей. Что еще? Стыдно признаться, но к Данте относились с подобающим почтением, и только. Лишь много позднее, в Италии, для меня начали звучать по-настоящему и остались со мной навсегда неповторимые торжественные и строгие строчки:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Мы с Кином знали «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, «Неистового Роланда» Ариосто, знали лирику Петрарки, но все это как-то не очень трогало. А вот книга Бенвенуто Челлини «Моя жизнь», великолепно переведенная Лозинским и изданная у нас, и Кину и мне страшно нравилась. Помню, как мне во Флоренции показывали на мосту Арно домик, в котором жил Челлини. Что же мы знали еще? Знали «Государя» Макиавелли и «Мандрагору», знали роман «Обрученные» Мандзони, из современных авторов — немного: одну-единственную пьесу Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», «Трагическую повседневность» Папини, «Ужин шуток» Сема Бенелли, довольно много романов Д'Аннунцио, но не могу припомнить, что именно: они как-то слились для меня. Вергу, к стыду своему, я не знала совсем, что-то читала Матильды Серао, что именно — не помню. Читала какие-то вещи Гвидо да Верона, но и тогда воспринимала их, как третий сорт. В «Чтеце-декламаторе» — тогда это было популярное издание — печаталось много стихотворений Ады Негри, и, надо сознаться, они

в то время произносили на меня впечатление. Отчетливо знали мы Маринетти, его «Манифесты» были переведены на русский язык, футуризм, как литературное движение, всех нас интересовал.

Странно, но получалось так, что мы воспринимали Италию (не только Кин и я, но, наверное, многие) сквозь призму восприятия некоторых не итальянских писателей. Все мы увлекались книгой Войнич «Овод», — я и теперь ее бережно люблю, — разумеется, прежде всего захватывала драматичность сюжета, но не только это: образ Монтанелли, как и самого Овода, врезался в сердца. Очень большое влияние имел на нас Стендаль, в юности я так любила его, что повсюду возила с собою его миниатюрный портрет. Суждения Стендаля об Италии принимали для меня характер аксиомы — это было непреложно, абсолютно; в Италии мы повторяли стендалевские маршруты, специально ездили в Чивитта Веккию посмотреть на домик, где жил Анри Бейль. Впоследствии, во Франции, я познакомилась и подружилась с крупным советским дипломатом Львом Михайловичем Караханом; он был тогда нашим послом в Турции, жена его, знаменитая в то время советская балерина Марина Семенова, выступала на сцене Гранд-опера, и Карахан несколько раз приезжал в Париж и жил там подолгу. Он тоже очень любил Стендаля и говорил мне, что, наверное, в мире существует нечто вроде масонской ложи «стендалистов», которые друг друга каким-то загадочным образом сразу узнают. И вот мы с ним — члены этой ложи.

Но я воспринимала Италию, еще не зная ее, не зная, что мне доведется когда-нибудь попасть туда, и сквозь призму восприятия великого русского поэта. «Итальянские стихи» Александра Блока и сейчас принадлежат к числу самых моих любимых, и я помню их наизусть — весь цикл. Я не знаю, переведены ли эти стихотворения на итальянский, — вероятно, переведены. Но, по правде говоря, есть вещи, которые может переводить лишь человек такого же огромного таланта. У Блока в этом цикле есть гениальное стихотворение «Равенна», — мало, мне кажется, в мировой поэзии встретится стихотворений такой же колдовской, необъяснимой прелести и гармонии:

Все, что минутно, все, что бrenно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

И еще стихи о Равенне, и о Сполето, о Венеции, о Перуджии, о Флоренции и Фьезоле, о Сиене — все они написаны в 1909 году, когда Блок совершал свое путешествие по Италии.

* * *

Да, была вечная, священная для всех, кто умеет думать и чувствовать, Италия. Но была и Италия Муссолини — та реальность, с которой нам предстояло встретиться. Повторяю дату: начало июня 1931 года. В Вене, в гостинице, где мы остановились, рано утром к нам явились полицейские с обыском. Это было до такой степени неожиданно и нелепо, что и выразить нельзя. Кин не знал по-немецки буквально ни слова и мог выразить свое негодование только мимикой и жестами, очень выразительными. Меня в детстве учили французскому и немецкому, но немецкий язык мне не нравился из-за его тяжеловесности, и я очень скоро бросила им заниматься. Но тут, при чрезвычайных обстоятельствах, какие-то обрывки слов появились сами собой. Я кричала на полицейских:

— Das ist doch unmöglich! (Это невозможно!)
— Aber was machen sie? (Но что же вы делаете?)
— Das ist ja Schande! (Какой стыд!)

Они не обращали на протесты никакого внимания. Мы не знали, как дозвониться до полпредства. Все это продолжалось недолго, но было отвратительно и вывело нас из себя. Потом полпредство выразило протест австрийским властям. В тот же день было еще одно впечатление, которое я до сих пор не могу забыть.

Мы гуляли по городу и внезапно увидели маршировавших штурмовиков. Я называю их штурмовиками условно. Это были какие-то военизированные отряды, но как их называть правильно — не знаю. Гитлер не пришел еще к власти, еще не было никакого аншлюса, эти штурмовики представляли только какие-то темные круги. Но зрелище было очень страшным. Прекрасный город, собор Святого Стефана, нарядная толпа. И эти штурмовики, маршировавшие, казавшиеся чем-то ирреальным, каким-то символом тупой и неумолимой, злобной, слепой силы...

Вечером мы зашли в кинематограф и по чистой случайности попали на великолепный фильм. Не помню, английский это был фильм или американский, назывался он «Эскадрилья «Аврора» и произвел на Кина исключительно большое впечатление. Сюжет был как будто очень несложен. Первая мировая война. Английская эскадрилья «Аврора», размещенная, если не ошибаюсь, во Франции. Фильм начинается с того, что командир сидит один и смотрит, сколько его самолетов возвращается на базу после военных действий. Один, два, три, четыре... не помню сколько, но не все. Будни войны, каждодневный бой, каждодневный риск, частая гибель.

Ни одной женской роли, ни намек на какие-нибудь любовные переживания. Сделано все это блистательно: сдержанно, лаконично, если можно так выразиться — антигитторично. Эту вещь можно было расценить не просто как очень удачный фильм, но как своего рода творческий манифест, который Кину чрезвычайно импонировал. Эта манера отвечала каким-то сокровенным его вкусам. Под впечатлением этой картины мы уехали из Вены. Впоследствии, когда «Эскадрилья «Аврора» шла в Риме, мы пошли на нее еще раз вместе, а потом Кин остался еще на один сеанс. Было несколько фильмов, которые ему нравились не только как зрителю, но как художнику, среди них «Трус». Об этом сохранилась даже заметка в записных книжках: «Фильм «Трус». Б. берется за дела, которым все предрекали неудачу, и тем не менее у него все выходит».

Последнее, чисто зрительное воспоминание мое об Австрии: маковые поля, которыми я любовалась из окна вагона. До этого я никогда не видела маков другого цвета, кроме красного. У Блока есть строчки «Золотые и красные маки надо мной тяготеют во сне»; мне всегда почему-то казалось, что это только поэтический образ, а тут я сама увидела золотые маки, и голубые, и красные, и это было совершенно феерично.

В Риме нас встретили несколько товарищей. Они отвезли нас в гостиницу, которая, если мне не изменяет память, называлась «Термини». Мы прожили в ней больше недели, пока не подыскивали квартиру на Корсо Умберто. Стояла адская жара, такая жара, что мне свет не был мил. Кин и Левушка переносили ее легко и в первый же день отправились осматривать город. А я сидела в номере гостиницы с закрытыми окнами и опущенными шторами, пытаюсь спастись от раскаленного воздуха, и была в самом упадочном настроении. Потом мне сказали, что в Италии не то пятьдесят, не то семьдесят лет не было такого жаркого лета. В те дни, к счастью, не дул сирокко, но вскоре нам предстояло и это испытание. Шли дни. Все хлопоты по найму квартиры легли на Кина, я из-за жары совершенно вышла из строя. Один раз Кин заявил, что это невыносимо — все время сидеть взаперти, он уговорил меня хоть проехаться на машине по городу. Я запомнила только плацца Кавур; пальмы, пинии, прекрасные здания, фонтаны мелькали перед глазами, но все было залито рыжим, золотым, нестерпимым солнцем, и я сказала, что не могу это переносить: номер в гостинице казался все-таки прибежищем.

Когда мы переехали в свою квартиру, я устроила такой же режим и там: замурованные окна и так далее. Кто-то научил меня, что в жару надо пить не лимонад и оранжад, а крепкий черный кофе, надо принимать не прохладные, а горячие ванны, — все это я на всю жизнь запомнила. Квартира была большая и очень комфортабельная. Мы взяли домашнюю работницу, ее звали Клотильда, она была очень смуглая, черноволосая, уроженка Рима. Клотильда решила, что нам будет понятнее, если она все глаголы станет употреблять в неопределенном

наклонении. Было очень неприятно, что она только так разговаривает с нами: «Вы ходить, вы говорить»... — и вообще у нас как-то не установилось контакта. Вероятно, она презирала меня за абсолютную мою непрактичность, за то, что я не умела считать деньги, почти ни во что не вмешивалась и целыми днями читала.

Я взяла номер газеты «Джорнале д'Италия» и начала читать не какие-нибудь заметки, а сразу передовую статью. Она была подписана именем Вирджинию Гайда. Я начала переводить статью на русский язык, частично догадываясь о смысле слов по аналогии с французскими, частично прибегая к помощи словаря. Дело шло довольно хорошо, но я споткнулась на одном слове. Итальянское *pe* я, не задумываясь, восприняла как отрицание, а по смыслу фразы получалась совершенная ерунда, нонсенс. *Ne* — никакое не отрицание, а соответствует французскому *en: vi ne prego-je vous en prie* (я вас об этом прошу).

Может быть, не так надо было приступать к изучению языка. Но мне до сих пор кажется, что выбор метода — дело очень субъективное, мне лично этот способ подходил. К грамматике я всегда испытывала некоторое отвращение, хотя умом понимаю, что это неправильно. Как бы то ни было, через несколько недель, несмотря на жару, которая меня изводила, я вполне свободно читала итальянские газеты. Правда, только газеты, читать книги я тогда еще не пробовала. После первой прогулки по городу, когда я запомнила только пиацца Кавур, и после переезда из гостиницы на квартиру я вышла из дому только один раз — в магазин. Тем временем и мой муж, и мой сын вели нормальный и разумный образ жизни и быстро осваивались с городом и разговорной речью. Однажды Кин настойчиво попросил меня показаться в нашем полпредстве, потому что там все недоумевали, почему он прячет свою жену. Обещала поехать.

Я очень хорошо помню это утро. Набралась решимости, взяла извозчика и поехала на виа Гаэта, 5. Меня ждали и приветливо приняли сотрудники, а потом повели в кабинет к советнику полпредства. Это был Марсель Розенберг, о котором те, кто читал мемуары Ильи Эренбурга, знают. Марсель стал потом ближайшим нашим другом, и мне хочется написать о нем по возможности подробно. Я пишу это и смотрю на его большой портрет — этот снимок сделан несколько позднее, в Париже, но таким же Марсель был в то утро, когда я увидела его впервые. Просторный кабинет, очень сильный вентилятор создает ощущение прохлады. За небольшим столиком сидит стенографистка, и навстречу мне поднимается человек с удивительно интересным и тонким лицом, карими глазами и обаятельной улыбкой. Он в огромной степени обладал тем, что французы называют «личный шарм». Он смотрел на меня, улыбаясь приветливо и, как мне показалось, чуть-чуть насмешливо. Впоследствии он говорил, что я была «смешная маленькая девочка в черном платье». Стенографистка вышла. Я пробыла в кабинете, вероятно, с полчаса, потом Марсель отвел меня к себе (он жил в этом же доме, как большинство работников полпредства) и познакомил со своей женой Любой. Выпив чашечку кофе, я отправилась домой, причем Марсель сказал, что они посетят нас в ближайшие дни.

Полпредом в то время был Дмитрий Иванович Курский, но он находился в отъезде. С ним я познакомилась позднее. Дмитрию Ивановичу было в то время под шестьдесят, он принадлежал к поколению старых большевиков-интеллигентов. Юрист по образованию, он после Октябрьской революции организовал в Москве первые народные суды и с осени 1918 года был народным комиссаром юстиции. Он был человеком глубоко порядочным, скромным и сдержанным. Полпредом в Италии Дмитрий Иванович был уже года три или несколько больше, серьезно интересовался вопросами, связанными с фашизмом. У него была хорошая личная библиотека, и он охотно разрешал Кину ею пользоваться. Я, разумеется, вслед за Кином тоже читала почти все, что он приносил домой.

Еще о языке. К газетному тексту я относилась совершенно уверенно — он почти не вызывал трудностей. Однажды мне попался иллюстрированный журнал, оказалось, что и нехитрую беллетристическую его часть читать очень легко. Что

касается книг... Должна признаться, что первая книга, которую я прочла по-итальянски, была «Королева Марго» Дюма. Я ее вполне сознательно купила в магазине, рассудив, что уж роман-то Дюма (я все его романы в то время любила, даже слабые) я непременно одолею. Это читалось очень легко, без всякого почти напряжения. Смешно мне сейчас это припоминать, но в тот же период я купила на итальянском языке гоголевского «Тараса Бульбу». С чего я это сделала — ума не приложу. Это было просто ужасно. Вероятно, переводить Гоголя вообще очень трудно. Но этот перевод казался мне тогда ниже всякой критики, прелесть текста, знакомого и любимого с детства, куда-то исчезла и получилось бог знает что. Когда пишешь чистую правду, как я делаю сейчас, обязательно получается как-то неправдоподобно, но так вышло, что сразу после «Королевы Марго» и «Тараса Бульбы» я уверовала в свои познания в итальянском языке и начала читать ни более ни менее, как произведения дуче.

Может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что я читала «Статьи и речи», три тома, — не ручаюсь за точность заглавия. Читала с живым интересом, многое меня удивляло, потому что всегда надо читать первоисточники: моя московская подготовка оказывалась явно недостаточной.

В это же лето произошел такой случай. В Рим приехал оперный театр — я не помню откуда, из какого города, но итальянский. В наше полпредство прислали приглашительные билеты, но никто не выразил желания поехать. Я поехала одна. Труппа выступала в здании летнего театра на территории виллы Боргезе. Точнее, это была летняя сцена, а публика сидела под открытым небом. Пишу это и ловлю себя на том, что я не уверена, точно ли, — может быть, все-таки это было помещение. Зато все последовавшее врезалось мне в память. У меня было место в восьмом или девятом ряду. Около меня было несколько свободных мест (в полпредстве остались никем не использованные билеты). Довольно долго не начинали, я не понимала, почему спектакль задерживается. Вдруг появилась группа людей в форме фашистской милиции. Они появились со стороны сцены и уселись ряда за четыре впереди меня. При их появлении все встали и начали скандировать: «Duce, duce, alala!» Погас свет, и началось первое действие оперы.

Но я сгорала от любопытства. Мне ужасно хотелось как следует рассмотреть Муссолини (а вдруг больше такого случая не представится?!). Едва начался антракт, я встала, подошла к тому ряду, где они сидели, и спросила человека, сидевшего с краю, который — Муссолини. Он взглянул на меня и спокойно ответил: «Quello» (Вот этот). Оказалось, что Муссолини был четвертым от него. Я сказала «Grazie» (Спасибо), уже смутно ощущая, что сделала что-то неловкое и неуместное. Муссолини повернулся и посмотрел на меня. Терять было нечего, я уставилась на него во все глаза. Прошли годы и десятилетия, после этого я множество раз видела Муссолини и слушала его речи, но запомнился он мне именно таким, каким я его увидела в первый раз: небольшие глаза, в тот момент устремленные на меня, знаменитая нижняя челюсть, пухлые пальцы и перстни на них.

Все это длилось, может быть, минуту. Я вернулась на свое место немножко растерянная, и тотчас ко мне подсел какой-то человек в штатском и заговорил со мною. Да, я в самом деле была еще совсем дурочкой, и ему пришлось в ответ на мой недоуменный вопрос тихо произнести слово «полиция». Произошел бессмысленный разговор:

— Синьорина француженка?

— Нет.

— Японка? (Меня многие принимали за японку.)

— Нет.

Слово за слово выяснилось, кто я такая. Полицейский, видимо, был человек опытный и тотчас понял, что подле него сидит не злоумышленница, покушающаяся на жизнь Муссолини (а ведь было несколько покушений!), а просто наивная молодая женщина, которую он назвал даже не синьора, а синьорина. Поняв,

что оснований беспокоиться у полиции нет, он очень любезно похвалил мой итальянский язык, произнес обязательную фразу о том, что «все русские способны к языкам», спросил, как мне нравится Рим, и вообще начал светский разговор. Потом он простер свою любезность до того, что спросил, не интересуют ли меня другие лица, сидевшие рядом с Муссолини. И, наконец, последняя деталь в этой маленькой комедии. Мой собеседник спросил меня, что в России говорят о дуче. По-моему, я вышла из положения довольно удачно; я сказала: «Говорят, что это очень энергичная личность». Полицейский остался вполне доволен и хотел еще поговорить со мной о музыке Россини, но я сказала, что у меня заболела голова, и поехала домой, не дождаввшись конца антракта.

Дома у нас был Марсель. Я все рассказала, как на духу, и оба они — Кин и Марсель — стали меня отчаянно ругать за эту дурацкую мою выходку. Марсель боялся, как бы за этим не последовали какие-нибудь неприятности и осложнения, чуть ли не дипломатического порядка. Кин ужасно на меня рассердился и сказал, что я хуже ребенка и что он меня никуда не будет отпускать одну. Я чувствовала себя отвратительно и, наверное, с неделю после этого события волновалась. Но — удивительная Италия! — не произошло абсолютно ничего. Думаю, что такая штука в нацистской Германии приняла бы иной оборот. Дразнили меня этой историей очень долго.

* * *

Рим летом 1931 года. Мы втянулись в работу. Кин освоился с ней удивительно легко. Разобраться в политической обстановке — это лишь часть задачи корреспондента. Надо было свыкнуться с непривычным распорядком и укладом жизни, почувствовать, а не только понять умом, чем дышит страна. Надо было очень много узнать, осознать, выяснить для себя самого. Мы жили довольно замкнуто. В условиях фашистского режима не было возможности широко общаться с людьми. Советская колония была маленькой, так как в Риме жили только работники полпредства, русские сотрудники смешанной советско-итальянской нефтяной компании «Петролея» и корреспондент ТАСС. Торгпредство находилось в Милане.

В полпредстве работало несколько итальянцев. История одного из них очень интересна. Это товарищ Мотта, коммунист, который в двадцатых годах, спасаясь от преследования фашистов, забегал на территорию нашего посольства, да там и оставался. Он стал работать консьержем, фашисты не чинили к этому никаких препятствий. Жена Мотта поселилась с ним, у них были дети, жена ходила вполне свободно, куда хотела, но сам Мотта не мог переступить через порог здания полпредства, выйди он на тротуар — его могли арестовать. Но он так привык к этому образу жизни, что его и не тянуло никуда. Когда после каких-то амнистий ему сначала сократили срок, который он должен был бы отбывать в заключении, а потом и совсем отменили приговор, Мотта как-то отправился с женой в кафе, а потом больше не захотел выходить на улицу: отвык. Не знаю, как дальше сложилась его судьба.

Садовником работал пожилой человек, «достопочтенный» Гранди, бывший депутат парламента. Хорошо помню синьору Фиори, которая преподавала итальянский язык некоторым сотрудникам полпредства, давала уроки и мне. Это была милая, скромная женщина средних лет, как мне говорили — вдова видного социалиста. Синьора Фиори жила вместе с сыном своего покойного мужа от первого брака, очень любила юношу, часто рассказывала о нем. Неожиданно его арестовали: в квартире у них нашли листовки. В ту ночь была одновременно арестована целая группа комсомольцев в Риме и окрестностях — их выдал провокатор. Кин был на суде, его потрясло, что подсудимые сидели в клетках, — эта отвратительная символика ужаснула его.

Иногда к нам заходил один молодой адвокат, живший неподалеку, — фамилию его я забыла. Он изучал русский язык самостоятельно и самозабвенно, без всяких практических целей. На правах соседа он обратился к Кину с просьбой

оказывать ему иногда консультацию, а Кин попросил меня. Я ему охотно помогала, как умела, но не всегда бывала на высоте, потому что не могла объяснить «почему». Помню, например, как он с непосредственностью и темпераментом южанина настаивал, чтобы я ему объяснила, почему и зачем в русском языке существует столько приставок к глаголам и как человек может их запомнить: ставить, отставить, доставить, выставить, расставить, переставить, приставить и так далее. Я смеялась и уверяла его, что это обогащает язык, но он не соглашался.

У меня самой иногда происходили конфузы с итальянским. Я быстро овладела разговорной речью, но не знала разных «хозяйственных» слов. Как-то раз мы зашли с Кином в магазин, и я отважно попросила у продавщицы «patata di alluminio» вместо того, чтобы сказать «padella di alluminio». В общем, вместо того, чтобы попросить алюминиевую сковородку, я попросила алюминиевую картошку. Девушка страшно смеялась, говорила «извините, синьора» и опять принималась хохотать так заразительно, что хохотали и мы, хотя сначала не понимали, в чем дело. Другой раз вышел конфуз со словом «gelato», которое мы вдруг забыли оба. Зашли в кафе и... ну, никак не могли вспомнить. Объясняли, что оно белое, сладкое, холодное, что его едят маленькими ложечками, — так и ушли, не получив мороженого: никто нас не понял. Выпили с горя по чашечке каффэ-эспрессо. Вышли — и сразу вспомнили, — бывает же так.

Мы много бродили по городу, иногда повторяя указания и маршруты, вычитанные у Стендаля, иногда выходили из дому без заранее намеченной цели, шли наугад, куда глаза глядят, — Кин всегда имел с собою фотоаппарат. Он делал снимки, которыми мог бы гордиться профессиональный фотограф. У меня сохранилось множество сделанных им фотографий. Мне не хочется говорить банальности на тему с неповторимой красотой Рима, и я прошу поверить мне на слово, что она не оставляла нас равнодушными. Мы прожили в Италии почти два с половиной года и понимали, что на нашу долю выпала большая удача.

Теперь я опишу первый в моей жизни дипломатический прием. Это было 7 ноября 1931 года. Прием был в пять часов пополудни. Кин, конечно, пошел и меня настойчиво просил прийти, просили Марсель и другие товарищи, но я не захотела. Почему? Тогда я заявила, что мне это совершенно неинтересно, а теперь мне кажется, что в глубине души я немножко стеснялась. Как бы то ни было, Кин уехал один, а я уселась за пишущую машинку (это было страстное мое увлечение, я только-только научилась печатать) и стала писать письма. Вдруг позвонили по телефону. Это оказалась жена полпреда, Анна Сергеевна Курская. Она все лето провела в Москве, только в эти дни приехала, и мы не были еще знакомы. Анна Сергеевна очень просила меня приехать. Я попробовала возражать, но уже не так, как говорила с мужчинами. Делать было нечего. Скоро за мной приехал полпредский шофер.

Думаю, я нужна была главным образом потому, что говорила по-французски и уже довольно порядочно — по-итальянски. Как бы то ни было, я явилась в полпредство, где всех гостей встречали Дмитрий Иванович и Анна Сергеевна. Тотчас меня подхватил наш морской атташе Чекунский и представил мне какого-то старичка адмирала. Это было поистине тяжелое испытание. Решительно ничего страшного в церемонии праздничного приема, конечно, не оказалось, но адмирал меня извел: он раза четыре рассказал мне о том, как в каком-то (не помню!) году, будучи молодым офицером, побывал в Одессе. Это было лейтмотивом нашей беседы. Кроме того, конечно, — «русские очень способны к языкам», «как вам нравятся памятники древнего Рима?». Было три-четыре обязательных темы. Впоследствии мне нередко приходилось бывать на приемах, и эти темы фигурировали непременно. Это напоминает, как москвичи, гордые своим замечательным метро, неизменно спрашивали иностранцев (в первые годы, конечно), как оно им нравится.

На том, первом приеме, когда я не знала, как бы мне избавиться от словоохотливого адмирала, выручил меня Марсель. Он в огромной степени обладал

той светской непринужденностью и свободой обращения, которая обязательна для хорошего дипломата; кроме того, он почувствовал, что «девочка» (он всегда так говорил обо мне) «au bout des forces»¹. После беседы с адмиралом я чувствовала себя очень уверенной и в то же время пришла к выводу, что приемы и в самом деле штука совсем неинтересная. Я и сейчас так думаю.

* * *

Случайно в маминых бумагах я нашла два старых своих письма того времени. Писала я «в Союз», как мы говорили, очень часто. Чувство тоски по родине, не покидавшее нас, иногда проявлялось особенно остро. Хотелось все время знать, как живут близкие люди, хотелось не отрываться от Москвы. Мы получали газеты и литературные журналы, следили за новыми книгами советских авторов, нам очень часто писали родные, товарищи, друзья, нас волновали и живо интересовали события, происходившие в общественной и литературной жизни нашей страны. В то же время очень хотелось, чтобы близкие знали, чем живем. чем дышим мы, какая обстановка нас окружает. Вот отрывок из одного моего письма, я привожу его сейчас потому, что в нем — непосредственное, свежее восприятие, которое сейчас делает письмо человеческим документом, говорящим о времени:

«Рим, кажется, декабрь.

Дорогие мои!

Прошу вас не смеяться над словом «кажется»: я не могу выразить иначе свое отношение к нашей действительности. Представьте себе день такой теплый, мягкий, солнечный, как у нас в самом расцвете мая; зеленую листву, массу цветов — астры, розы, гвоздики, хризантемы, орхидеи, азалии; мутную, желтую реку Тибр, по которой несутся вперегонки лодки и гребцы с голыми руками; вечерний, кремовый, нежный туман, обволакивающий людей и здания; переливающиеся фонтаны. Вы, разумеется, можете представить себе все это схематически, но не так, как на самом деле. Сейчас Рим очарователен. Пойдите в Боргезе, это знаменитый парк, — вы заблудитесь в аллеях, среди мраморных теплых скамеек, статуй, цветников, среди нимф и фавнов и среди девушек с бронзовыми телами, с кувшинами в классических, совершенных руках, среди зарослей пальм и пиний и неожиданных лужаек. Вы забудете на минуту, что сейчас 1931 год, и вы вообразите XVIII век. Да, на этих скамейках естественнее выглядели бы женщины в белых люконах, в платьях «помпадур», чем парочки римских буржуазок с офицером в хаки... Ну, хорошо, довольно отступлений.

На днях я опять отправилась в картинную галерею Боргезе. В сущности, всего несколько сюжетов, бесконечно варьируемых художниками разных веков и школ: мадонна — с Христом, с детьми, около Голгофы; сам Христос в окружении ангелов или учеников, или один, или снятый с креста; святой Себастьян, пронзенный стрелами, еще несколько популярных святых. Это — религиозная живопись. Я не говорю, конечно, о таких монументальных произведениях, как Сикстинская капелла в Ватикане, а о массе картин. В одном зале вы видите мадонну Боттичелли и мадонну Гвидо Рени, какая колоссальная разница. У Боттичелли — условные лица, строгие, скупые линии, блесклые, бесконечно благородные краски, стилизованные дети и цветы. У Гвидо Рени — живая, прекрасная женщина; вся картина выдержана в теплых, глубоких, мягких тонах, темный фон оттеняет лицо его мадонны, не строгой, не грустной, а спокойной и очень по-земному красивой. Описывать все картины невозможно, скажу коротко, что это огромное удовольствие: рассматривать их, не торопясь, не захлебываясь от наплыва впечатлений, а пристально замечая детали, сравнивая, сопоставляя, так сказать, переживая картину.

Вообще я начинаю систематическое хождение по римским музеям, с книгами, каталогами и т. д. У меня перед глазами печальный пример двух наших то-

¹ Совершенно без сил (франц.).

варищей, которых перебрасывают в Париж. Они пробыли здесь десять месяцев и не удосужились побывать даже в Ватикане, сейчас спохватились, но уже поздно: через несколько дней надо уезжать. Подумайте, как обидно — жить в Риме и не увидеть всех его сокровищ. Мы уже кое-что видели, пожалуй, даже много, но я хочу внести в это дело новые элементы: смотреть разумнее, сознательнее, подробнее, чтобы по крайней мере о Риме сохранить яркие воспоминания.

На днях впервые были в оперетте. Оркестр никуда не годный, балет тоже, но играют хорошо; все это в меру глупо, но смешно и время от времени стоит заглядывать. В оперу здесь ходить немисливо: билет в амфитеатр стоит 4—5 долларов. Да и вообще настоящая опера — в Милане, а здесь так, туалеты показывают, черт с ними. Кроме того, в оперу в моих платьях не пойдешь: нужны всякие вечерние наряды. Вообще же здесь театральное искусство стоит на очень низком уровне по сравнению с Союзом: здесь преобладают варьете, драмы в нашем понимании нет. Разумеется, не только МХАТ или театр Вахтангова, но и Камерный — для них верх искусства. Кстати, о русском театре здешние газеты много пишут, как и о нашей литературе».

Сейчас я перечитываю это письмо и улыбаюсь. Но именно такая я была, так воспринимала живопись, такие были суждения и лексика. А непосредственно после последней приведенной фразы (я ничего не пропускаю) совершенно неожиданно говорится: «Последняя здешняя новость: смена ген. секретаря фашистской партии, но это абсолютно никакого политического значения не имеет, так как у них генсек погоды не делает, делает ее только один человек: Муссолини».

Смешное письмо, разумеется. Примитивные рассуждения о мадоннах Боттичелли и Гвидо Рени, а потом вдруг, без всякой связи с предыдущим, последняя новость — «смена ген. секретаря фашистской партии». Слитные, укороченные слова в стиле того времени.

Декабрь 1931 года. Я помню очень хорошо, что генеральным секретарем фашистской партии был тогда назначен Акилле Стараче. Непосредственно перед ним этот пост занимал Джуриати, но мне он представляется какой-то бледной фигурой, и я о нем почти ничего не могу припомнить, кроме того, что его считали интеллигентным человеком. То же говорили об Аугусто Турати, который читал в Римском университете лекции по «истории революции». Не помню, читал ли он их, еще занимая пост генсека, или позднее, но помню очень хорошо, что почти сразу после торжеств по случаю десятилетия режима, осенью 1932 года, в печати появилось какое-то грозное официальное сообщение, касавшееся Турати. Он оказался скомпрометированным, так как в своей личной переписке не очень стеснялся в характеристиках, а письма каким-то образом стали достоянием властей. Тогда обо всей этой истории в кругах иностранных журналистов много говорили — этому не придавали особого политического значения, но это был довольно крупный скандал, а скандалами всегда интересуются.

О Стараче говорили как о совершенном ничтожестве, как о тупице и удивлялись, почему выбор Муссолини пал на него. Он как будто считался опытным «аппаратчиком», но как личность представлялся воплощением ординарности. Никто не думал тогда, что Стараче удержится в качестве генерального секретаря целых десять лет и будет на самом деле играть какую-то роль если не в политике, то во всяком случае в установлении «фашистского стиля» жизни.

* * *

В ТАССе хранились подшивки некоторых газет за много лет. Кин читал их очень внимательно, я — выборочно. Но все, что только было возможно, об убийстве Маттеотти прочла и я. В 1924 году, когда его убили, об этом, разумеется, писали и в советской печати. Мы с Кином еще только несколько месяцев жили вместе, привычки обо всем говорить друг с другом. Я помню, что и тогда нас потряс это убийство. Итальянские газеты двадцать четвертого года, конечно,

не давали достаточно полной информации, но они отражали растерянность режима, отражали и оппозиционные настроения в стране: ведь тогда еще не был принят пресловутый «Закон об охране государства» и газеты не были унифицированы. Многое, конечно, забылось, но врезались в память и имена убийц, и экстремистские заклинания Фариначчи, и отчеты о заседаниях палаты, самые первые, когда труп Маттеотти еще не нашли. До сих пор я не могу думать об этом хладнокровно.

У меня сохранился отрывок из записных книжек Кина, относящихся к 1932 году. Вот он:

«Я автор, и моим оружием является презрение. Это оружие я бережно кладу вместе с завернутым в газету, принесенным с фронта револьвером, лежащим под стропилами крыши миланского рабочего, вместе со штыком, зарытым в огороде анконского батрака, вместе с листовками, запрятанными за пазуху генуэзского комсомольца, вместе с красным знаменем, засунутым в снопах тосканского крестьянина.

Исполнилось уже свыше 10 лет с того дня, как Муссолини разогнал парламент, ликвидировав буржуазную демократию для установления террористической диктатуры буржуазии. Эта победа над противником, который сам ничего так не желал, как своего поражения, это страшное побоище вождя черных рубашек с парламентским чучелом, эта реакция, которая называет себя «революцией», эта революция, полученная из руки короля, благословляемая попами и охраняемая полицией, составляет все идейное и историческое богатство нового режима, весь его эпос и мифологию».

Мне кажется, этот отрывок очень интересен, мне хотелось показать, о чем думал Кин в фашистской Италии. Разумеется, он наслаждался прогулками по Риму, когда мы впервые открывали для себя изумительные фонтаны, развалины античного Рима, окрестности, бродили по стандалевским маршрутам, любовались закатом, сидя на скамейке в прославленной Вилле Боргезе. Разумеется, он отлично сознавал и радовался, что живет в «вечном городе», с громадным уважением и интересом знакомился с памятниками искусства. Но так силен был политический темперамент, так отчетливо было все его отношение к миру, что Кин ни на минуту не мог забыть, что над этой прекрасной страной, над этим бесмертным городом тяготеет позор фашизма.

Когда-то давно, когда Кин работал в «Комсомольской правде», он озаглавил свой фельетон о тогдашнем болгарском премьер-министре Цанкове — «Мразь». Это название не было случайным. Тема безграничного презрения к врагу органически вытекала из всего мирозерцания Кина: не только ненависть, но отвращение, безграничное презрение к этим «нищим духом», как писал Кин. Такой же «мразью» он считал Бенито Муссолини. Дуче был в представлении Кина не только палачом, не только убийцей Маттеотти и столько других мужественных патриотов и гюремщиком Грамши. — он был выскочкой, парвеню, мелким, тщеславным актеришкой с перстнями на коротких, жирных пальцах, обожающим позировать перед фотоаппаратами. Он часто выступал с речами перед толпой, собравшейся на площади Венеция, и мы уже наизусть знали все его повадки, заученную жестикуляцию, безудержную демагогию, красноречие присяжного оратора, неизменно начинавшего свои речи обращением: «Чернорубашечники! Народ Рима!» Кин своим острым взглядом газетчика отлично видел, что чернорубашечников хватало, но никакого «народа Рима» там не было, в лучшем случае жалкие чиновники, которых заставляли имитировать энтузиазм, скандируя вкупе с полицейскими и фашистской милицией: «Дуче, дуче, ала-ла!»

В романе «Лилль», над которым Кин много работал в те годы. Бенито Муссолини, разумеется, фигурировал, но лишь в качестве ренегата, исключенного в 1914 году из социалистической партии, организовавшего на деньги, которые получал от французской газеты «Пополо д'Италия» и агитировавшего за вступление Италии в войну на стороне Антанты, — по времени роман не доходил до эпохи фашизма. При жизни Кина не были еще опубликованы документальные данные,

подтверждавшие, что Муссолини получал деньги и от царской охраны, но достаточно много было известно уже тогда.

Кин ни к чему не относился поверхностно. В Италии, стремясь по-настоящему глубоко и объективно разобраться в исторических фактах, он перечитал массу книг, сборников речей, подшивки газет за прошлые годы, всю доступную документацию. Его интересовало все: социальная база фашизма, философия главы итальянских неогегельянцев Джованни Джентиле, выдвинувшего идею создания «Стато этико» (этического государства) и утверждавшего, что «всякая сила моральна, даже если это сила дубинки», вопрос о взаимоотношениях фашистского правительства и Ватикана, писания Маринетти, Д'Аннунцио и пр. и пр.

Итак, рефрен: «Я автор, и моим оружием является презрение». Но для того, чтобы презирать, надо не только сильно чувствовать и страстно верить в свою правоту, надо знать, надо интеллектуально быть несравненно выше своих идейных противников, надо уверенно, свободно разбираться в их идеологии, легко отбрасывать демагогическую шелуху, обнажая истинный смысл. Для того, чтобы ясно представить себе корни пресловутого фашистского «корпоративного строя», Кин, не ограничиваясь тем, что, так сказать, лежало на поверхности, изучал историю страны, историю общественной мысли, итальянского национализма, возникновение фашизма как политического движения. Так, и только так, понимал Виктор Кин задачу публициста: не схема, а диалектика, не поверхностно-«приблизительная» полемика, а безошибочно меткая, основанная на точном знании стрельба по врагу.

Мы не вели разговоров на политические темы ни с кем из итальянцев, с которыми встречались. Это было невозможно. Отношения с работавшим в ТАССе сиеньором Баттистоном, или с адвокатом, учившим русский язык, или со случайными людьми, с которыми мы иногда сталкивались или встречались на приемах, не позволяли таких разговоров. В общем, мы жили очень замкнуто: кроме советской колонии, Кин общался с коллегами по «*Stampa estera*», встречался с итальянскими журналистами, но среди них не было никого, с кем бы установились личные отношения. Как можно было в то время судить о том, что кроется за фасадом режима? Мы очень внимательно следили за прессой, старались читать между строк. Часто ходили слушать речи Муссолини, которые он произносил с балкона палаццо Венеция. Кин всего несколько раз за все время нашей жизни в Италии побывал на заседаниях палаты депутатов. Он не вынес от посещений палаты никаких ярких впечатлений.

Сейчас я хочу рассказать о том, как обстояли наши личные дела в 1932 году. Наш мальчик, который выучился говорить по-итальянски так, словно это был его родной язык, ходил в школу. Кин много работал, а я по мере сил помогала ему, но все же оставалось много времени свободного и для прогулок по городу, и для разъездов по стране. Мало-помалу мы так освоились с Римом, что чувствовали себя там совершенно уверенно и свободно. Кое-что казалось нам провинциальным. Вечером город засыпал очень рано, после десяти все как будто погружалось в сон.

Марсель и его жена в декабре 1931 года уехали в Париж. За ссмы месяцев мы очень подружились, и без них стало тоскливо. Мы часто переписывались, один раз Люба по рассеянности не дописала адрес и на конверте значилось просто «Цецилии Кин. Италия». Исправные почтальоны доставили письмо в срок. Решили, что весной я приеду в гости в Париж.

В начале 1932 года в Рим приехала новая сотрудница — не в полпредство, а в «Петролея»: смешанное итало-советское нефтяное общество, которое возглавлял в то время советский работник Альберг, а заместителем у него — коммерческим директором, — итальянец, фамилию которого я не помню. Матильда Рихтерман (а попросту Муся) была направлена сюда Наркомвнешторгом и стала работать секретарем «Петролеи».

Надо сказать, что о Мусе мы слышали еще до того, как увидали ее в полпредстве. Колония была маленькая, все всё знали. О Мусе было известно, что

она все свободное от работы время плачет, потому что тоскует по Ленинграду и по сестре. Товарищи из «Петролеи» утверждали всерьез, что однажды она чуть не попала под машину, когда, вся зареванная, переходила через дорогу. Все эти шутки имели некоторое основание. Муся легко осваивалась с языком (она знала французский и немецкий), у нее был общительный характер, и к ней хорошо относились на работе все сотрудники — и русские и итальянцы, но она чувствовала себя очень одинокой. Наша семья стала для нее прибежищем. Она приходила к нам каждый день после работы и уходила в гостиницу только ночевать, проводила с нами воскресные дни. В интересах истины должна признаться, что иногда она начинала плакать и при мне, вспоминая о своих родных, но, в общем, у нас она оттаяла.

Я стала уговаривать Мусю переехать к нам, но она почему-то не решалась. С присущей ей наблюдательностью и чувством реальности она очень скоро обнаружила, что наша Клотильда — не тот человек, который нужен в семье, где хозяйка больше склонна читать книжки или бродить по музеям, нежели проверять расходы. Муся где-то разыскала чудесную девушку Марию, мы расстались с Клотильдой, и у нас стала жить Мария, которую мы от души полюбили и которая также полюбила всех нас. У Марии был жених Нелло, очень славный парень, тоже деревенский. Нелло работал в каком-то баре или кафе, каждую субботу он отдавал половину своей получки Марии, и она клала ее на сберегательную книжку: они копили деньги, чтобы можно было пожениться. Так как мы платили Марии много больше, чем она зарабатывала до того, как пришла к нам, свадьбу удалось ускорить чуть ли не на год. Но о свадьбе Марии я расскажу потом, потому что это произошло уже в 1933 году, а пока у нас весна 1932-го.

В апреле я решила поехать в Париж к Марселю и Любе. Теперь я могла совершенно спокойно оставить мужа и сына, так как над ними взяла шефство Муся. Я очень просила и уговаривала ее переехать к нам, в особенности теперь, когда это было бы так важно, но она никак не хотела. Все деньги на расходы я вручила не Кину, а ей, мы обо всем договорились, и я уехала.

(Окончание следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО*

Поезд пришел утром, как раз в часы пик. Марсель и Люба встретили меня на вокзале, и полпредская машина, медленно двигаясь в нескончаемом потоке машин, доставила нас на рю де Гренель, 79, по пути забросив Любу на работу в торгпредство. Марсель был очень занят, он сказал мне, что у него напряженный день. Он поднялся со мной в их квартиру, на столе стоял приготовленный для меня завтрак, я могла принять ванну, поесть и, как Марсель полагал, отдохнуть. Он приготовил мне на выбор несколько последних французских романов, поцеловал меня и ушел. Я действительно приняла ванну, поела, но даже не подумала улечься на диван с книжкой. Вместо этого я отправилась бродить по городу.

Мне очень дорога Италия, но чувство, которое вызывает Париж — не вся Франция, а именно Париж, — нельзя сравнить ни с чем. Мне кажется, все, кто побывал в Париже, испытали это чувство, объяснить которое мне не под силу. Я вышла из здания полпредства и пошла, точно не зная, куда иду, но с вполне определенной целью: я хотела непременно в этот же первый мой парижский день посмотреть Нотр-Дам. Я шла пешком, дошла до набережной, медленно шла мимо лавочек букинистов, вдоль серой Сены. Передо мною раскрывался изумительный, неповторимый город, я была молода, жизнь казалась прекрасной, она принесла мне этот несравненный подарок — Париж.

Я шла по парижским улицам с такой уверенностью, словно отлично знала город. Может быть, потому, что все мы по стольку раз перечитывали романы Бальзака, Стендаля, Флобера, Золя, Гюго, — господа, да я просто узнавала какие-то места, или это только казалось так? Редко в жизни мне доводилось испытать чувство такого самозабвенного душевного подъема, такой чистой радости, как в тот апрельский день, когда я, никого ни о чем не спрашивая, дошла до Нотр-Дам, и постояла внизу, и поднялась по винтовой лестнице к Химерам, и могла дотронуться до них рукой. Народу не было, мне некого было стесняться. Не знаю, как это объяснить: ведь все это очень субъективно, но это был один из самых счастливых дней в моей жизни.

Часы шли, я не торопилась. Зашла в кафе, называвшееся «Луи XV», выпила чашку кофе и съела бриошь, отдохнула и опять отправилась бродить по городу, не думая о времени. Я вернулась в полпредство в седьмом часу вечера; меня ждал ужасный скандал: Марсель вообразил, что я попала под машину, он отчаянно сердился на консьержей, зачем они меня выпустили (как будто они могли меня остановить!). Этого мало — из полпредства уже звонили в полицию... Когда я появилась, на Марселе лица не было. Он заявил, что, если это еще раз повторится, он даст телеграмму Кину или сам отправит меня в Рим безотлагательно.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

Но я была в таком чудесном настроении, что даже особенно не огорчилась из-за всего этого шума. Правда, мне могло бы раньше прийти в голову, что стоило оставить записку или позвонить по автомату. Я никак не хотела вызвать столько волнений, просто так вышло.

Я прожила в Париже целый месяц и за этот месяц успела полюбить его на всю жизнь. Все нравилось мне: серая река, серые здания, частая сетка мелкого дождя, черепичные крыши. Большие Бульвары и очаровательные старые улочки, изумительная деревянная скульптура на дверях Сен-Шапель, и букинисты, такие вежливые, благожелательные и полные чувства собственного достоинства, и парки, и метрополитен, и совершенное отсутствие ханжества: никто не считал неприличным есть на улицах или целоваться, никто ни на кого не обращал внимания — хоть вниз головой ходи.

Было еще одно обстоятельство, вызывавшее во мне самый жгучий интерес: приближались всеобщие выборы, город был увешан воззваниями кандидатов в депутаты, тут было все — предвыборные обещания, какая-то (так мне во всяком случае казалось) неизбежная порция риторики, полемика между представителями разных партий, личные нападки и обвинения, ответы, контробвинения и так далее. В жизни я еще не видела такого и не представляла себе. Одно дело читать описание предвыборной кампании даже в такой блестящей книге, как «Люсьен Левен», а другое — самой часами простаивать, читая все эти афиши, плакаты и воззвания. Переполненная всеми этими впечатлениями, я начинала, кажется, чувствовать себя почти парижанкой, но должна сознаться, что мой интерес к выборам объяснялся не столько тем, что я привыкла, так сказать, «политически мыслить», сколько тем, что предвыборная борьба велась остро, держала в напряжении и захватывала: самая атмосфера, казалось, была насыщена электричеством.

Но тут произошло событие, которое потрясло меня, как и всех нас: президент Французской республики Поль Думер был убит, и убийцей оказался Павел Горгулов, русский, белоэмигрант. Правые газеты, как только выяснилось, что убийца — русский, заявили, что он — большевик, пробовали развязать антисоветскую кампанию. Какие-то хулиганы сорвали флаг с нашего павильона на выставке. В полпредстве, очевидно, предполагали, что могут произойти еще какие-нибудь эксцессы. Наш полпред, Валерьян Савельевич Довгалецкий, был болен. Марсель — первый советник полпредства — держался с великолепным достоинством и хладнокровием. Он был удивительным человеком, способным чуть ли не в истерику впасть из-за чепухи (вот как история со мной в первый день моего приезда), и безукоризненно выдержанный, смелый и решительный, когда речь шла о по-настоящему серьезных и опасных вещах. После Парижа он был первым представителем Советского Союза в Лиге Наций, а потом нашим послом в республиканской Испании. Позже, в Москве, он кое-что рассказывал об испанских делах, рассказывал, как всегда, лаконично и скупно, но все-таки выяснилось, что он оставался в осажденном Мадриде долгое время после того, как правительство переехало в Валенсию. Потом из Валенсии он дважды летал в Мадрид — оба раза через линию фронта. Летать туда он считал необходимым, так как надо было «поднимать настроение» у людей, оставшихся в городе. Можно было добраться до Мадрида иным путем, не подвергая себя прямой опасности, но так лететь было гораздо быстрее, а кроме того, Марсель был человеком такого духовного аристократизма, что презирал опасность и не желал быть осторожным.

Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» о Марселе написал очень мало и бегло; он, очевидно, недостаточно близко знал его. Это был человек своеобразный и яркий. У него была не совсем обычная биография. Он родился в Варшаве, потом семья переехала в Данциг. Мальчику было, кажется, лет десять или двенадцать, когда он упал, и падение закончилось катастрофой: у него начал расти горб. Если бы родители вовремя обратились к врачам, был бы наложен гипс и т. д., — все бы, очевидно, кончилось благополучно. Но мать проявила полнейшее легкомыслие, а потом — было уже поздно. Марсель, по-видимому, был глубоко

травмирован, он не пожелал оставаться в семье и подростком лет пятнадцати уехал в Англию, оттуда в Америку. Он перепробовал разные ремесла, как-то зарабатывал себе на пропитание, не имея настоящей специальности.

Его интересовали идеи научного социализма, и после Октябрьской революции он решил приехать в Россию, вступил в коммунистическую партию. Он стал работать в Наркоминделе и быстро выдвинулся, но у него начались какие-то трения с Чичериным, который был наркомом, и Марсель уехал на партийную работу, не помню в какую область, и стал секретарем комитета партии в деревенском районе. Когда он рассказывал об этом периоде своей жизни, Кин очень удивлялся: трудно было представить себе Марселя среди крестьян. Однако Марсель сказал, что работал он там хорошо, крестьяне его уважали, советовались и доверяли ему. Позднее, когда наркомом стал Максим Максимович Литвинов, он уговорил Марселя вернуться на дипломатическую работу.

Не знаю, в каком году и как долго, но Марсель побывал в Китае и, в частности, очень подружился с вдовой Сун Ят-сена, Сун Цин-лин. Он как-то вскользь рассказал об этом. Вообще он мало говорил и о делах, и о себе лично. Кин шутиливо заметил однажды, что у Марселя «в каждом кармане лежит по дипломатической тайне». Эренбург пишет о Марселе, что у него была любезная и ироническая улыбка. Он вообще был человеком иронического склада ума. Дипломатом он был талантливым, во Франции у него был очень большой личный престиж и авторитет. У него были прекрасные личные отношения с Эррио и со многими другими французскими лидерами. Если Марсель, будучи поверенным в делах (во время тяжелой болезни Довгалецкого и после его смерти), желал встретиться с премьером или с министром иностранных дел, ему не нужно было прибегать к обычным дипломатическим каналам, достаточно было, чтобы он сказал: «*Cher ami, je voudrais vous voir*»¹, чтобы свидание состоялось. Литвинов отлично знал о его блестящих способностях и высоко ценил Марселя: не случайно он был первым представителем нашей страны в Лиге Наций.

Чтобы закончить рассказ о Марселе, скажу еще, что он в Париже усердно собирал всякую литературу для Чичерина, который был тогда тяжело болен, совершенно ушел от дел и писал какую-то книгу по истории музыки, точно не помню — о чем он писал. Марсель ссорился с Чичериным, когда тот был наркомом, но проявлял самое деликатное внимание к этому большому человеку, когда тот сошел с исторической сцены.

Наконец я вернулась в Рим. После Парижа он показался мне маленьким, удивительно спокойным и очень «несовременным» городом. Тем не менее я сильнее, чем раньше, почувствовала прелесть Рима. Муся переехала к нам, и мы зажили очень дружно.

* * *

Мы с Кином часто говорили о Муссолини. Однажды Мария прибежала домой перепуганная: они с Левушкой гуляли и увидели похоронную процессию, настолько торжественную, что Левушка громко спросил Марию, кого это хоронят — Муссолини? Наша милая Мария до смерти испугалась: не знаю уж, чего она ожидала, но стала упрашивать синьора Кина, чтобы он строго-настрого запретил нашему *bambino* говорить такие вещи. Кин выполнил ее просьбу. В связи с этим я вспоминаю другую смешную историю: когда мы собирались ехать в Италию, Кин объяснил своему шестилетнему сыну, что мы едем в фашистскую страну и т. д. и т. д. Он так здорово все это объяснил малышу, что тот, едва мы переехали советско-польскую границу, стал вести себя страшно осторожно, — он спросил Кина шепотом: «Папа, как ты думаешь, этот паровоз прицепят к нашему составу или нет?»

¹ Дорогой друг, я хотел бы вас повидать (франц.).

* * *

А теперь, по правде говоря, мне хочется немножко отвлечься от Муссолини и от всей этой темы, хотя все связанное с итальянским фашизмом и вообще с фашизмом продолжает волновать меня. Прошло более тридцати лет, а я не могу думать обо всех этих вещах с так называемым «академическим» бесстрашием.

Да и вообще-то какое может быть академическое бесстрашие! Перебираю итальянские газеты с известием о смерти Элио Витторини — портреты, статьи, некрологи. Какое у него было хорошее лицо. Я никогда не видела его, не переписывалась с ним, знаю его только как писателя и деятеля культуры. Почему же такое чувство, словно ушел из жизни кто-то близкий? Мы давно знали о его болезни, этого сообщения можно было ждать, и все привыкли к тому, что проклятый рак уносит людей — одного за другим. Хемингуэй писал как-то о том, как он молился, не помню точно, за кого, но заканчивалась его молитва так: «И за всех моих друзей, больных раком».

Мне очень больно, что умер Витторини. Я прочла, кажется, все его книги. В первой моей большой статье «Литература итальянского Сопротивления» я писала о романе «Люди и нелюди», в то время как у нас не было еще переведено ничего из произведений Витторини. Начиная с первого номера журнала «Менабо»¹, я с исключительным интересом и вниманием слежу за этим журналом. Теперь Кальвино остался один, и я думаю о том, как ему тяжело. О «Менабо» мне тоже случилось писать, и даже несколько раз, последний раз в январе 1966 года, а в феврале Витторини умер.

И теперь, когда поздно, ничего не вернешь, мне приходит в голову, что надо было по крайней мере посылать Витторини журналы со статьями, где речь шла о нем и о «Менабо»; кто-нибудь перевел бы ему, а ведь всегда приятно, когда в другой стране внимательно и непредубежденно следят за твоей работой. Вот французский критик Доминик Фернандес написал книгу «Итальянский роман и кризис современного сознания», — он много писал в ней о Витторини, о характере его гуманизма. Конечно, об этом можно спорить, надо спорить, но обязательно с позиций взаимного доверия и уважения — иначе весь этот «диалог» просто не имеет смысла.

* * *

Мы довольно много путешествовали по Италии. Иногда порознь, иногда вместе. Вышло так, что Кин первый раз поехал в Милан без меня. Оттуда он прислал мне открытку: «Видел Миланский собор — пожалуй, я не мог бы его сделать».

В записных книжках Кина есть такая заметка: «В Пизе есть падающая башня. Все смотрят, и никто не поможет». Сейчас, когда башне стремятся помочь архитекторы всего цивилизованного мира, я с улыбкой перечитываю эту шутовскую фразу. Но вернемся к путешествиям.

В Милане мы были по несколько раз. Мне не хочется говорить слова восхищения, которое вызвала у меня и «Тайная вечеря» Леонардо, и многие замечательные картины в галерее Брера, и знаменитый Миланский собор. Из Милана мы ездили в Турин по великолепной автострате. В Турине или в Генуе мы осматривали какие-то из предприятий «Фиат», но, к большому сожалению, я почти ничего не помню об этом. Смутно помню дорогу для испытания автомобилей на крыше завода. Помню генуэзское кладбище Кампосанто. Некоторые памятники произвели потрясающее впечатление, в частности старушка с бубенчиками.

Сейчас мне хочется вспомнить о том, как мы с Кином были в Неаполе. Точнее, Кин в первый раз был там без меня, провел в Неаполе несколько дней, по-

¹ «Менабо» («Факсимиле») — журнал по вопросам культуры; основан Элио Витторини и Итало Кальвино в 1960 году. «Менабо» — один из лучших прогрессивных журналов Италии. Теперь он перестал выходить.

сетил Горького, который хвалил его роман, тепло отнесся к нему самому и пригласил его погостить с недельку в Капо ди Сорренто, когда позволит работа. Кин был тронут, но не воспользовался этим приглашением — это было не в его характере. Неаполь меня поразил какой-то почти сверхъестественной красотой. Залив в часы заката солнца был прекрасен до такой степени, что хотелось плакать. Мы провели в Неаполе три дня, три поразительных дня. Однако именно в Неаполе я впервые столкнулась с резкими социальными контрастами, и они произвели на меня тяжелое впечатление. Приведу отрывок из моего письма родным:

«Я впервые в большом портовом городе и не знаю, что из себя представляет какая-нибудь Одесса или Владивосток. Но думаю, что специфика Неаполя, не похожего на наши портовые города, — бесспорна. Это как-то странно звучит, но при всей его прославленной (и неоспоримой) красоте Неаполь показался мне мрачным. Несколько центральных нарядных улиц — да и то архитектура какая-то казенная, не то что в Риме, — а потом чуть-чуть вбок, и начинается анфилада переулков, тупиков, площадей, убийственно грязных, вонючих, зловещих. Вообразите улицу такую узкую, что почти соприкасаются балконы противоположных домов. Через дорогу повешены на просушку груды рваного белья. На мостовой валяются кучи мусора, отбросы овощей, фруктов и рыбы, тут же копошатся десятки грязных, измызганных, лишайных, рахитичных детей: они играют, едят, дерутся, визжат, у многих глазные заболевания, все они смешиваются в пестрый клубок и так и растут на улице. Смертность детей в Неаполе совершенно колоссальная, особенно до двух лет, выживают, очевидно, самые здоровые, но надо на них только посмотреть. В квартирах первого этажа нет окон, двери из комнат выходят прямо на улицу, вы идете, и перед вами раскрыта внутренность жилья: одна огромная кровать, какая-нибудь еще жалкая рухлядь, тут же куры, тут же сидят бабушки — толстые или горбатые старухи, почти страшные в своем дряхлом уродстве.

Кстати — не знаю почему, — в Неаполе на улицах на каждом шагу встречаешь калек или уродов, я не преувеличиваю. Особенно много горбатых и хромых, красивой, опрятной старости не видишь вовсе. Ну, дальше. Тут же перед домами сидят отцы семейств, ремесленники — сапожники, кузнецы. Тут же перед домами женщины, оборванные, неестественно жирные, шьют, или вяжут, или ругаются. И над каждым домом, в каждом углу иконы, всюду мадонна и лампадки перед ней. Висят иконы или статуэтки стоят такие нелепые, примитивные, грубые. А по городу шляется всякая заграничная сволочь и наслаждается местными «колоритными» нравами. Думаю, что для этих туристов часть очарования Неаполя пропала бы, если бы срыть эти клоаки и поместить людей в человеческие жилища и уничтожить эти «живописные» лохмотья. Трудно в письме передать вам, как остро, как отчетливо чувствуешь там все — не политическое только, а моральное — превосходство нашей системы. В Риме такой явной нищеты нет. И сам он так красив, так прилизан, так его украшают и стилизуют, что здесь просто не допустили бы таких форм нищеты, откровенных, настойчивых, как в Неаполе. А запах этого города — смесь всевозможной гнили, разложения, нечистот. Из некоторых переулков мы просто убегали, потому что мне становилось физически нехорошо.

И наряду с этим — господи, до чего же красиво, неправдоподобно красиво: великолепная набережная, сады, море, огромные камни у берега, лодочки, корабли на рейде, лунная серебряная дорожка на темной воде или солнце, расцветившее эту воду золотом и пурпуром».

В Неаполе с нами произошел случай, о котором мне неловко рассказывать потому, что он может показаться вымышленным: слишком уж все произошло «литературно», словно по какой-то схеме. И все-таки я расскажу о нем, потому что это совершенная правда и воспоминание это мне дорого. Мы шли по одному из бедных кварталов, тех кварталов, где в пыли играли дети с больными глазами. Вдруг у меня сломался каблук. Это было очень неприятно, но неподалеку сидел подле своего дома (дома без окон), точнее сказать, подле своей лачуги, сапож-

ник. Кое-как я приковыляла к нему, он сказал, что сейчас же починит каблук, и вынес мне плетеный стул. Я села, и мы с Кином продолжали разговаривать между собой. Сапожник прислушался, спросил, не по-русски ли мы говорим. Оказалось, что во время первой мировой войны он был ранен и лежал в госпитале с какими-то русскими солдатами. Короче говоря, когда он узнал, что мы действительно русские, и не белые, а настоящие, он отказался взять деньги за работу и сказал, что для него удовольствие услужить русской синьоре.

Надо ли говорить о том, до какой степени мы были тронуты. Поблагодарили его от души, попрощались. За углом был магазин. Мы зашли туда, накупили разных яств и хорошего вина, попросили все это сложить в корзинку и показали, кому надо отнести. Когда мы убедились, что мальчишка из магазина отнес корзинку и поставил ее на земле подле сапожника, который, видимо, сначала не понял, в чем дело (нас он не видел), мы сразу ушли. Я не могу забыть все это.

На другой день мы отправились осматривать Везувий. Оба мы были в наилучшем настроении. Смешно как будто, но вчерашний маленький эпизод так согрел душу, что хотелось видеть в нем нечто большее, чем любезность неаполитанского сапожника. Ведь мы не имели никакой возможности общаться с людьми, об их настроениях можно было только строить предположения и догадываться. Да, так вот мы осматривали Везувий. Это было великолепно. Машина довезла нас до того места, которое для большинства туристов считалось концом осмотра, я была страшно довольна и собиралась уже купить открытки со специальной маркой Везувия. Но тут выяснилось, что желающие могут подняться до самого кратера пешком, в сопровождении проводника. Нам сказали, что для дам это несколько трудно, и я, по правде говоря, совсем не горела желанием совершить этот подъем. В горах я никогда до тех пор не бывала, и вообще с меня вполне хватило бы официального маршрута. Кин, разумеется, должен был во что бы то ни стало дойти до конца. Собралась группа мужчин, но в последний момент к ним присоединились две старые англичанки, очень некрасивые и очень решительные. Все было кончено: пришлось идти и мне. Кин, конечно, ничего не сказал, но я живо представила себе, что он всю жизнь станет обвинять меня в трусости, если я спасую в то время, как обе старые леди полны энтузиазма.

Должна сознаться, что подъем показался мне очень страшным. Нас связали веревкой, и мы двигались цепочкой, проводников оказалось целых два — один впереди, другой позади. Трудно представить себе более феерическое зрелище, чем причудливо застывшая лава, внизу — Неаполитанский залив, белый городок Салерно, казавшийся воплощением идиллии. У меня кружилась голова, и я боялась смотреть вниз, но все-таки смотрела и думала все, что, вероятно, думают все о таком зрелище. Наверху, где, если опустишь руку в щель, чувствуешь жаркое дыхание вулкана, я любовалась изумительными красками кратера — никогда я не видала камней таких чистых, ярких и резких цветов. Спускаться было не так страшно, главное же, что я выдержала это маленькое испытание и не стала жертвой насмешек моего иронически настроенного мужа. Побывали мы, разумеется, и в Помпее, и вообще эти три дня в Неаполе были до предела насыщены впечатлениями.

В последний вечер мы ужинали в каком-то ресторанчике совсем близко от моря. Трио певцов, очевидно, сочло своим долгом исполнить для русских гостей не только популярные тогда песни, но и «Санта Лючия», вероятно, зная, что в нашей стране она пользовалась широкой популярностью. Однако я была «просвещенной» и знала уже в то время другие, модные в начале тридцатых годов итальянские песенки.

Из Неаполя мы вернулись до такой степени переполненные впечатлениями, уставшие и довольные, что я, например, долго не могла включиться в обычную жизнь. Между тем приближалась свадьба Марии.

Я писала уже о том, что мы очень любили ее. Она в самом деле была прелестная: добрая, женственная, ласковая, с очень мягким характером, но в то же время знающая, чего хочет. В ней была какая-то внутренняя устойчивость, поло-

жительность, здравый смысл. Ее жених Нелло, который производил очень хорошее впечатление и относился к Марии не только нежно, но с какой-то большой деликатностью, терпеливо ждал, пока наступит срок свадьбы. Вообще же он во всем полагался на ее мнение, все решала она.

Мария объяснила мне, что для брака необходима, так сказать, хотя бы минимальная материальная основа. Конечно, она не употребляла таких неуклюжих слов, она просто перечисляла все, что нужно заранее купить: простыни, наволочки, одеяла, полотенца, скатерти, белье, необходимая мебель и так далее. Пока все это не будет закуплено, нельзя венчаться. У Марии в городе, я хочу сказать в Риме, жили еще две сестры, но я их редко видела и не помню, как их звали. Когда дело обернулось таким образом, что сроки сдвинулись и можно было наконец назначить день свадьбы, Мария как будто даже не волновалась. Стали подыскивать комнату, в которую переедут Мария и Нелло после свадьбы. В этом мы не участвовали, этим занимались сестры Марии.

Я забыла упомянуть о том, что сами мы давно уже не жили на Корсо Умберто. Еще в 1932 году, когда Кин уехал в отпуск в Москву, мы с Мусей приготовили ему сюрприз: нашли чудесную квартиру на улице Сфорца Палавичини, 30. Нам было там очень хорошо, и Кин, вернувшись из Москвы, пришел в восторг и расхвалил нас за инициативу. Сфорца Палавичини была прекрасная тихая улица, и после шумного Корсо нам было там очень приятно.

Мария быстро стала как будто членом нашей семьи, она относилась к нам с беспредельным доверием, очень скоро совершенно перестала стесняться даже Кина, не говоря уже о нас с Мусей, горячо полюбила Левушку. За исключением того случая с «похоронами Муссолини», когда она так испугалась, мы никогда не говорили с ней «о политике». Думаю, что это ее и не интересовало, она не расспрашивала нас о том, какой строй в нашей стране, зато спрашивала про морозы и про то, какие звери живут в наших лесах, и про то, какие блюда в России готовят. Муся научила ее делать русские пельмени, которые любил Кин, и Мария называла их «*i pelmeni*» — без *i* она не могла обойтись: множественное число!

Мы, естественно, принимали самое близкое участие в делах Марии. Подвенечный наряд стоил очень дорого, я спрашивала Марию, необходимо ли так на него тратить; она объяснила мне, и я не могла с ней не согласиться, что свадьба бывает всего раз в жизни и, следовательно, наряд должен быть именно такой. Не знаю почему, но венчание было назначено на семь часов утра. Наверное, в тот день предстояло много свадеб. Для Кина необходимость встать рано была тяжким испытанием: он привык очень поздно ложиться и поздно — около десяти — вставать. Но тут уж деваться было некуда. Мы приготовили Марии подарки: от нас с Кином столовый сервиз на двенадцать персон, очень красивый, а от Муси кофейный сервиз. Кроме того, мы купили ей дорожный несессер (ведь им предстояло традиционное свадебное путешествие — они собирались на десять дней поехать к родителям в деревню). Наконец, Кин, уже по своей инициативе, заказал корзину цветов. Все это готовилось в строгом секрете от Марии: вещи и цветы были доставлены в комнату, которую они сняли, накануне вечером, и их приняла одна из сестер Марии, которая даже не пошла на венчание, потому что надо было приготовить торжественный свадебный завтрак, и все приводила в порядок в комнате. Помню, как тронул меня итальянский обычай: все торговцы в нашем квартале, у которых Мария покупала все, что было нужно для нашей семьи, сделали ей свадебные подарки, хотя бы пустячок какой-нибудь, но никто об этом не забыл. Не знаю, объяснялось ли это тем, что Мария была такой милой и всех располагала к себе, или это действительно обычай. Но как это было приятно!

Накануне свадьбы, вечером, Мария вдруг расплакалась, да как... Мы очень взволновались, но выяснилось, что она плачет просто потому, что ей неожиданно показалось, что приготовлено мало угощения и завтрак окажется недостаточно приличный. Что было делать, мы с Мусей помчались покупать еще всякую вся-

чину и отвезли Мариной сестре, которая ночевала в их новой комнате, точнее, не в этой комнате, а у квартирной хозяйки, потому что в комнате стояла супружеская кровать, а никакого дивана не было. Наша Мария успокоилась. До того вечера она никогда не плакала, я думаю, что нервы у нее были очень напряжены и поэтому любой, самый ничтожный предлог мог вызвать слезы.

В пять часов утра к нам на квартиру явилась портниха. Она надела на Марию белое подвенечное платье, что-то на ней прилаживала и подкалывала. Времени было еще много, но Мария волновалась и решила, что надо сейчас же разбудить Кина. Мы с Мусей были уже готовы и Левушку подняли, а Мария побегала в спальню и очень энергично начала трясти Кина за плечо. «Синьор Кин, — кричала она, — *si alza, si alza!*» (вставайте, вставайте!). Кин вскочил как встрепанный. Пришла вторая сестра Марии, еще кто-то пришел, не помню. До церкви было очень близко, минут десять ходьбы, но идти пешком нельзя было ни в коем случае: традиция не позволяла. Все мы уселись в извозничьи пролетки и почти что шагом направились в церковь. Народу было много, кого-то венчали еще до Марии и Нелло. Когда пришла их очередь, произошел маленький инцидент: Мария во время церемонии улыбнулась нам и священник сделал ей строгое и, я бы сказала, резкое замечание. Но она как будто не расстроилась.

Когда все закончилось, мы расцеловали нашу милую Марию, поздравили Нелло, и все поехали к ним в новую комнату, чтобы позавтракать, а потом проводить новобрачных на вокзал. Поезд уходил в полдень.

В церкви присутствовал хозяин Нелло, владелец кафе, где он работал, и какие-то друзья Нелло. Когда мы приехали и Мария увидела все наши подарки, она опять расплакалась, начались новые поцелуи и объятия. У меня было чувство, что мы выдали замуж любимую младшую сестренку. Мария переоделась в дорожный шелковый костюмчик, тоже сшитый специально для свадебного путешествия, серый в мелкую клеточку. Она была очаровательна.

За столом хозяин Нелло и Кин, как самые почетные гости, были посажены рядом. Хозяин подарил Нелло шикарную самопишущую ручку и карандаш и с этого дня надбавил ему жалованье. У него (хозяина) был, разумеется, фашистский значок, и он вел с Кином серьезную беседу... о сотрудничестве классов. Это было очень забавно. На вокзал он уже не поехал, так далеко его патерналистские чувства не простирались. Мы проводили новобрачных. Было условлено, что к концу их пребывания в деревне приедем к ним на денек в гости и мы. Мария хотела, чтобы мы познакомились с ее родителями.

Мы действительно приехали туда, и как мне обидно, что я не помню ни названия деревни, ничего. Это было часах в четырех езды от Рима, мы ехали поездом. У Марии оказался чудный отец, а мать стеснялась нас и почти ничего не говорила. В кухне висел окорок, и Кину это очень понравилось. Он еще когда-то в Москве шутя говорил о том, как представляет себе «изобилие»: висит окорок, и Кин, не снимая его, отрезает себе ломтик, когда вздумается. Нас кормили и поили вкусным белым вином и жалели, что мы не привезли своего *bambino* (Левушка остался в Риме с Мусей). Вечером пришли соседи; я думаю, крестьянам было интересно познакомиться с русскими синьорами; все они отнеслись к нам приветливо, но немножко, я бы сказала, официально. Мария сияла. Она была счастлива и в довершение ко всему радовалась нашему приезду. Мы переночевали в доме Марии и на следующее утро уехали. Мария и Нелло остались еще дня на два, потом вернулись, и почти все пошло по-старому. Почти, потому что Мария уже не жила с нами, а только приходила каждое утро. В то время мы не знали, что через несколько месяцев нам предстоит разлука.

* * *

В Риме у нас часто гостил кто-нибудь из советских товарищей. Мы прожили в Италии почти два с половиной года, и москвичи, приезжавшие в Сорренто к Алексею Максимовичу, потом зачастую оказывались нашими гостями. Но я хочу еще упомянуть о том, как мне самой довелось быть в гостях у Алексея Макси-

мовича. Я однажды совершила длинную поездку по Сицилии вместе с работниками «Петролеи»; поездка была интересной, но не в ней суть. Когда мы приехали в Неаполь, товарищи заявили, что надо непременно проводить Горького. Я тщательно протестовала, мне казалось, что это будет навязчиво, — все равно решили туда отправиться. Нас встретили очень хорошо, Алексей Максимович тепло говорил о Кине и спросил, почему Кин не приезжает к нему (Кин, однако, так и не приехал). Помню, что Горький в разговоре с нами высказывал живое беспокойство в связи с событиями в Германии, с фашизмом.

Но возвращаясь к нашим гостям. У нас жили по несколько недель Бабель, художник Яковлев, профессор Хольцман, крупный специалист по легочным заболеваниям, лечивший Горького, и другие. Это было интересно, но немножко утомительно: я добросовестно водила гостей — и тех, кто останавливался у нас, и тех, кто жил в полпредстве, — по музеям.

Бабель был блестящим собеседником и очень своеобразным человеком. Энергия его была поистине удивительной, он хотел как можно больше увидеть в Риме, и бродить с ним по городу было нелегким делом. Раньше всего я повела его в собор Святого Петра. Я сама туда часто приходила, потому что меня глубочайшим образом трогала и волновала микеланджеловская Пьета. Но я убедилась, что Бабеля больше всего нравилось искусство барокко. Мы несколько раз приходили в галерею Боргезе, и он не переставал любоваться скульптурами Бернини. А когда я однажды повела его в церковь Санта Мария делла Виттория и показала группу Святой Терезы, он пришел в такой восторг, что я даже несколько удивилась, учитывая его обычный скепсис. По-моему, искусство Бернини чем-то глубоко отвечало эстетическим взглядам самого Бабеля.

В это время Бабеля было около сорока лет; мне он казался некрасивым, лоб у него был огромный, даже как будто чрезмерный, очень живой взгляд из-под очков, улыбка приятная. Он отлично говорил по-французски и многое понимал по-итальянски, очень много знал, любил искусство. Все, что он успел написать до тех пор, мы знали чуть ли не наизусть. Когда вышла «Конармия», она ошеломила не только читателей, но и литераторов. Это буйство красок, дерзкая неожиданность метафор, великолепие, переливавшееся через край, поражали. В 1928 году Буденный очень резко выступил против Бабеля, обвинив его в том, что он неправильно изображает Первую конную армию, искажает историческую правду и так далее. За Бабеля горячо вступился Алексей Максимович Горький. «Товарищ Буденный, — писал Горький, — охаял «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев»¹.

Тогда только начал выходить сатирический журнал «Чудак». И вот в № 1 за декабрь 1928 года мы видим две фотографии. Заголовок: «Из литературной жизни» — и подпись под фотографиями: «Газетная полемика о «Конармии», по-видимому, не будет продолжена. Тем не менее чудак счел необходимым заснять участников полемики в моменты, характеризующие их настроения: бодро-боевое (у С. М. Буденного) и упадочническое (у И. Э. Бабеля)».

Кину особенно нравился рассказ Бабеля «Соль» — этой вещью он открыто восхищался и, вопреки своей обычной сдержанности, сказал об этом автору. По-моему, Бабеля это было очень приятно. Бабель рассказывал невероятно смешные истории про Одессу, и это казалось неиссякаемой темой. Рассказывал он здорово, подчиняя себе слушателей, которые неизбежно настраивались на ту же волну. Мне жаль, что я ничего не запомнила, осталось только общее впечатление.

В 1934 году я мельком виделась с Бабелем в Москве, когда приходила с гостевым билетом на Первый съезд советских писателей. Он там выступал. До него выступал Эренбург, который очень остроумно встал на защиту тех, кто

¹ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, М., 1953, стр. 473.

мало и редко пишет, — он назвал имена Бабеля, Юрия Олеши и Пастернака. Как раз в этой речи Эренбург сказал, что к работе писателя нельзя подходить с мерками количественными, что есть писатели плодовые, как крольчиха (так он выразился о себе), и есть другие, у которых беременность длится долго — как у слоних.

А когда выступил Бабель — он отреагировал, разумеется, на «крольчих и слоних», — самым интересным в его речи, на мой взгляд, было то, что он сказал о пошлости: «Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция»¹.

Приезжал Бабель и в Париж в 1935 году, когда там происходил Международный конгресс писателей, но я не видела его. Кин мне говорил, что Бабеля встретили очень хорошо, он был популярен не только у нас, но и на Западе. Меня очень радует большой интерес к нему в Италии. Не помню точно когда, но в то время, когда мы были во Франции, наш друг Гриша Литинский написал мне, как Бабель был в гостях в «Вечерке» (газета «Вечерняя Москва», в которой тогда работал Гриша). Бабель рассказывал о Париже, и каждый рассказ был готовой новеллой. Например, история о том, как парижские извозчики, ожидая седоков, читают газеты, а потом обсуждают новости, выражаясь отличным литературным языком, отпускают чисто литературные остроты и сентенции. Рассказывал им Бабель и о своем визите к Шаляпину, который вышел в каком-то шлафроке и был грустный-прегрустный. Мне жаль, что я мало помню о Бабеле. Блестящий был человек.

В 1933 году в Рим приехал Самуил Яковлевич Маршак.

Я очень хорошо помню, как Самуил Яковлевич впервые появился у нас. Я устала от гостей. По натуре я всегда была гостеприимной, но иногда мне хотелось пожить «нормально», своей семьей. Поэтому, когда Кин однажды сказал мне, что приехал Маршак и хочет прийти к нам, я не проявила никакого энтузиазма. Но дня через два рано утром, часов в девять, раздался телефонный звонок: «Это квартира Кина? Это его жена? Здравствуйте, говорит Маршак. Можно мне приехать к вам в гости?» Мне понравился голос, интонация, доверчивая простота обращения, и я уже не только из вежливости, но от души сказала: «Конечно, можно, товарищ Маршак».

Минут через сорок он был у нас. Я хорошо помню, что это было воскресенье, потому что дома была и Муся. Не знаю, как это случилось, но не было никакой даже мимолетной скованности первого знакомства. Думаю, что это заслуга «товарища Маршака». Признаться, я не знала раньше его имени и отчества и (сейчас это звучит почти неправдоподобно) почти не знала его стихов, хотя у меня был маленький сын. Но в это воскресенье все мы испытали очарование этих стихов. Мне кажется, Самуил Яковлевич всю жизнь не так уж хорошо читал стихи, но все-таки не только мы, но и наша Мария заслушалась. Мария, очень музыкальная, отлично уловила ритм «Почты» и просила рассказать ей, что это такое. Левушка «Почту» знал хорошо, знал и некоторые другие стихотворения. Самуил Яковлевич, впрочем, обращался к восьмилетнему мальчику серьезно, дружелюбно и вежливо и не задавал ему никаких праздных вопросов, в частности, не говорил с ним о стихах, а больше расспрашивал о Форуме, об Аппиевой дороге и т. д. Он провел у нас весь день. Вечером мы должны были ужинать у нашего полпреда Владимира Петровича Потемкина (он сменил Курского, уехавшего в Москву), дом там был организованный, и опаздывать не полагалось. Оказалось, что Самуил Яковлевич тоже был приглашен на ужин. Ну, и все мы опоздали почти на час. Пронзошло это из-за Самуила Яковлевича, который в последний момент заявил, что ему необходимо побриться — иначе нельзя ехать. Началась целая канитель. Марья Исаевна Потемкина была чрезвычайно

¹ Стенографический отчет. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. М. 1934, стр. 279.

недовольна таким неслыханным опозданием, но виновник так простодушно сказал, как было дело, что она сменила гнев на милость.

Этот день был началом многолетней моей дружбы с Самуилом Яковлевичем.

Мы очень много бродили по музеям. Мне теперь жаль, что не помню в деталях, что говорил Самуил Яковлевич о той или иной картине, помню немного. Помню, что в отличие от Бабеля он оставался равнодушным к искусству барокко, что ему очень нравился Караваджо в галерее Боргезе и там же «Любовь плотская, любовь духовная» Тициана (ему вообще нравились венецианцы — не только Тициан, но Веронезе и Тинторетто). Много раз мы заходили в собор Святого Петра. Самуил Яковлевич любил и торжественную площадь с обелиском и фонтанами, и Пьету, и ватиканскую Пинакотеку.

Иногда вместо меня с Самуилом Яковлевичем ходила куда-нибудь Муся. Первый же их совместный поход в музей ознаменовался тем, что наш дорогой Маршак уронил свои очки, потом наступил на них и раздавил. Муся пришла в ужас: запасных очков не оказалось. Таких историй было много: вечно что-нибудь забывалось, терялось и так далее. Принимая во внимание римскую жару, сирокко и все дополнительные хлопоты, которые возникали из-за рассеянности Самуила Яковлевича, можно понять, что мы иногда пробовали читать ему нотации. Ничего не помогало, приходилось принимать его таким, каким он был.

Тем более что он был очарователен. Ему было тогда сорок шесть лет, у него было хорошее лицо и мягкая улыбка, он представлялся нам открытым, безыскусственным, очень доброжелательным и простым. У него была блестящая память, он читал мне не только сотни стихотворений, но и длинные куски пушкинской прозы. Мне нравился его вкус, его юмор, — помню, как он однажды сочинил длинную итальянскую фразу (почти что целую тираду) и обратился с нею к двум итальянским полицейским, охранявшим здание полпредства и громко разговаривавшим между собою по ночам, мешая ему спать. Смысл тирады был в том, что очень нехорошо беспокоить людей и можно говорить тише и ходить подальше от окон. Самуил Яковлевич уверял, что его красноречие на полицейских подействовало.

* * *

Мне еще ни разу не пришлось даже бегло упомянуть о том, как мы с Кином, атеисты по убеждению и по воспитанию, чувствовали себя, попав в католическую страну. У Кина, как я уже писала, был большой интерес к философии и серьезная теоретическая подготовка, поэтому он и тогда чувствовал себя несравненно увереннее, чем я, во всех этих вопросах. У меня не было никакого философского образования, да, признаться, и особого интереса к этой проблематике не было. Первое время я жила под впечатлением, которое производил внешний вид монахов различных орденов в их разноцветных одеяниях, монахинь с накрахмаленными воротниками и чепчиками — все это было знакомо по книгам и по картинам; но совсем другое дело, когда идешь по улице и сталкиваешься с монахинями каждую минуту, — мне казалось, что это не вполне реально. Потом привыкла.

Я испытала нечто вроде нервного потрясения, когда мы пошли осматривать кладбище капуцинов. Самая идея делать сложные орнаменты из человеческих черепов, берцовых костей, коленных чашечек и т. д. показалась мне отвратительной. У меня все это как-то не укладывалось в сознании. Кин сохранял совершенное самообладание и о чем-то расспрашивал монаха, служившего нам проводником. Тот отвечал спокойно и кротко. Кин спросил монаха, в частности, ожидает ли того самого после смерти подобная участь, на что он с благоговением ответил, что надеется сподобиться этой чести. Я смотрела на люстры из человеческих костей, на скелеты особенно прославившихся монахов этого ордена, одетые в коричневые рясы с капюшонами, и мне было страшно и противно, все это представлялось мне невероятной жестокостью.

Кин реагировал иначе, в соответствии со своим характером и темпераментом. Ему это было даже интересно. Когда мы вышли оттуда, он, желая развлечь меня, рассказал, как какой-то ученый немец спрашивал, что будет в день страшного суда, как эти бедные покойники выкрутятся и соберут свои кости, рассеянные по разным местам. Но на меня этот юмор не подействовал. Ни с кем из наших товарищей, которым я показывала Рим, я на кладбище капуцинов не ходила.

Я была девочкой лет, наверное, десяти, когда мне в руки попала «ужасно интересная» книжка про иезуитов. Впечатление она произвела поистине оглушающее. Многого я, конечно, не поняла, но там были разные драматические сюжеты, в частности распри между Елизаветой Английской и Марией Шотландской и казнь Марии, «Пороховой заговор» и куча других историй, в которых неизменно фигурировали «коварные иезуиты». Не так давно, роаясь в старых, расстрепанных, случайно не выброшенных моими родителями книгах, я натолкнулась на эту книжку и мгновенно узнала ее.

Она издана в 1913 году, но язык в ней такой (это перевод с французского), что с трудом представляешь себе, как могли таким языком писать в нашем веке. Называется она: «История иезуитского ордена, составленная по подлинным, отчасти неизданным документам аббатом Гетте, автором Истории Церкви во Франции и многих других исторических сочинений». Наверху значится: «Бесплатное приложение к журналу Душеполезное Чтение». Никогда у нас в семье такой журнал не выписывали и не читали, и просто загадочно, каким образом эта книжка могла очутиться у нас; еще более загадочно, как могла она сохраниться полвека.

Я попробовала перечитать ее. Не смогла, не знаю почему. То ли язык вызывал во мне скуку, то ли написана она очень уж элементарно. Аббат Гетте весьма строго относился к ордену иезуитов. Когда я выросла, мне пришлось кое-что читать по истории папства, католицизма, различных орденов. Самое сильное впечатление произвели на меня книги по истории инквизиции. С этим связано одно воспоминание, относящееся к путешествию по Сицилии.

Мне очень досадно, что я не могу вспомнить, в каком из городов Сицилии — в Палермо ли, или где-то в другом городе — я видела серию портретов деятелей священной инквизиции (работы художников испанской школы). Под каждым портретом была надпись: годы жизни, титул и сколько еретиков истребил этот инквизитор. Эта бухгалтерская точность, это подведение итога жизни инквизитора, эти цифры о количестве уничтоженных благодаря его энергии и настойчивости людей произвели на меня страшное впечатление. Вот не вспомню город, а помню, что эти портреты висели в нижнем этаже, в длинном помещении, в чем-то вроде коридора. Строгие, суровые, иногда красивые, неизменно умные лица — воплощение неумолимой жестокости. Когда в Москве, в шестидесятых годах, мне попала только что вышедшая в Италии книжка Леонардо Шаша «Смерть инквизитора», я живо вспомнила эти портреты.

Превосходная книжка. Я думала тогда о том, какую колоссальную работу должен был проделать автор, чтобы написать ее. В ней меньше ста страниц, она написана в своеобразном жанре, нечто вроде исторического эссе, сделанного на самом высоком литературном уровне. Мне кажется, эта книжка не имела достаточного резонанса в Италии, на нее скупой откликнулась критика. И я не могу удержаться от искушения кое-что сказать о ней.

В основу положен исторический факт. В XVII веке был сожжен на костре дьякон Диего Ля Матина, который, будучи заключенным в тюрьме инквизиции, убил при помощи своих железных наручников инквизитора. Леонардо Шаша рылся в архивах инквизиции, познакомился с множеством книг и документов. Он с удивительной скрупулезностью сопоставляет различные исторические источники, опровергает «официальную версию», согласно которой Диего Ля Матина — еретик, разбойник и убийца, а инквизитор чуть ли не святой. Шаша цитирует множество интересных документов, он мастерски воссоздает атмосферу Сицилии XVII века, описывает нравы и обычаи, подробности сожжения на костре. Основ-

ная идея этой книги заключается, по-видимому, в том, чтобы показать негибаемого человека, человека огромной духовной силы, которого ничто и никто не может заставить отказаться от его «ереси». А ересь заключалась в том, что Ля Матина допускал возможность, что бог может быть и несправедливым. Я читала все это с напряженным интересом и чувством глубокого уважения не только к гордым и непреклонным людям Сицилии, но и к писателю, который сумел с большим гражданским пафосом, но совершенно без риторики рассказать нам о жизни и смерти Диего Ля Матина.

Мне хотелось бы рассказать о том, как я решила изучить памятники христианского Рима. Вскоре после того, как я прочла «Королеву Марго», «Тараса Бульбу» и речи Муссолини, я купила себе книжку, которой очень дорожила: религиозно-историко-художественный путеводитель, написанный монсиньором Гвидо Аникини. Книга вышла как раз в 1931 году и как будто была создана для меня. Дело в том, что стендалевских маршрутов было явно недостаточно. Помимо всего прочего, Стендаль очень субъективно и пристрастно относился к Италии, и при всем том, что я восхищалась его стилем и изяществом, — далеко не все оценки я могла разделить. Кроме того, мне нужно было иметь именно справочник, именно путеводитель, и я его получила.

По правде говоря, сначала я наивно воображала, будто смогу, пользуясь этим драгоценным путеводителем, в самом деле «изучить Рим». Это, конечно, оказалось совершенной утопией. У меня не было ни времени, ни сил, ни необходимого запаса педантизма для того, чтобы планомерно ходить по всем церквям и осматривать все, о чем точно и обстоятельно, с большим знанием и большой любовью написал монсиньор Аникини. Тем не менее его книга мне многое дала. Я говорю «мне», потому что тут Кин не был мне попутчиком. Он любил Рим, много бродил по городу и по окрестностям с фотоаппаратом, делал первоклассные снимки, но у него был свой принцип отбора материала, несколько близкий (как мне теперь кажется) к эстетике неореализма. Как бы то ни было, он решительно отказался принимать участие в моем «паломничестве», и я осуществляла его одна. Когда в нашей семье появилась Муся, она тоже не проявила интереса к этим моим путешествиям.

Но я осмотрела много церквей, и, смею сказать, с некоторым толком. Начать с того, что я решила побывать в самых старых церквях, и в первую очередь в церкви Санта Мария Маджоре, куда потом приходила много раз (и Кина привела). Она производила неизгладимое впечатление. Что касается Кина, на него несравненно большее впечатление произвела Скала Санта. Эта лестница, по которой, по преданию, поднялся Иисус Христос, — большая святыня; по ней теперь верующие поднимаются только на коленях (а потом спускаются по другой, не святой, лестнице). Я не помню, сколько там ступеней — кажется, двадцать восемь или двадцать девять. Кин смотрел, как по этим ступенькам на коленях поднимались, перебирая четки и читая на каждой ступеньке молитвы, полные старые женщины в черных платьях. Странное дело, почему-то кладбище капуцинов, которое меня просто привело в ужас, Кина никак не задело, только заинтересовало, тогда как Скала Санта и нога на бронзовой статуе Святого Петра, сточенная миллиардами поцелуев, на Кина произвели громадное впечатление. Я была в очень многих церквях и, главным образом благодаря своему путеводителю, осматривала их не бегом, а со смыслом, училась разбираться в архитектурных стилях. Правда, часто церкви были, так сказать, эклектическими благодаря многочисленным перестройкам, смешивались стили, и порою это нарушало цельность впечатления. Но все это было интересно, а иногда и волнующе. Много раз бывала я и на богослужениях. Не могу припомнить, в какой церкви пел изумительнейший хор «голубых сестер».

Мне ни разу не пришлось беседовать с каким-нибудь священником. Мы купили бланк индульгенции на французском языке, и он у нас долго хранился. Мы видели исповедальни, на которых висели таблички с обозначением, на каком

языке можно объясняться, — языков было указано много. Во Франции был случай, когда в поезде мы оказались по соседству с двумя пожилыми монахинями. Сначала они держались очень чопорно, видимо, стесняясь иностранцев. Потом мы стали закусывать, я осмелела и предложила им бутерброды с икрой и еще что-то. Лед был сломан. Они очень мило согласились. сами вытащили какие-то вкусные вещи и стали угощать нас. Им очень понравился Левушка, и всю дорогу мы сердечно разговаривали; мне до сих пор кажется, что им показалось удивительным, что советские русские оказались самыми обыкновенными людьми, с которыми можно поговорить без напряжения и очень просто.

Не знаю, как выразить это чувство, не знаю, отчего так происходило, но всю жизнь я чувствовала себя просто и естественно с людьми любой национальности и любых профессий, за исключением каких-либо представителей бюрократии. Может быть, в этом играло роль то, что мое поколение было воспитано в духе подлинного интернационализма. Благодаря этому, вероятно, я легко находила общий язык почти со всеми, с кем сталкивала меня жизнь. Когда в начале пятидесятых годов я попала в Туркмению (в нефтяной город Небит-Даг, где было очень пестрое по национальному составу население), я чувствовала себя одинаково хорошо и просто со всеми. Я работала тогда в большой автотранспортной конторе, большинство шоферов были туркмены, и я подружилась с ними. Вскоре они стали звать меня «сестра», что означало высшую степень привязанности и доверия. Однажды в Москве заболела моя мама, и мне надо было полететь туда. Об этом, разумеется, мгновенно все узнали. Вечером ко мне явились два шофера — из самых уважаемых людей, степенные, пожилые. «У тебя мать больна?» — «Да». — «А потом ты вернешься к нам?» — «Вернусь». Они меня заверили, что мать моя непременно поправится, а потом очень деликатно сказали, что привезли мне денег, «чтобы ты, сестра, хорошо лечила свою мать». Денег я не взяла, но была тронута до глубины души. Я знала, как искренне, бескорыстно и сердечно эти люди относились ко мне. Когда весной 1955 года я окончательно уехала оттуда в Москву — что и говорить, я была счастлива. И все-таки кусочек моего сердца остался в этом городе, где дул свирепый ветер «афганец», очень напоминавший сирокко, где я мучилась от жары, где мне порою приходилось очень, очень трудно. Так, видно, устроено наше сердце. Ведь вот и Италия, такая как будто далекая, — для меня близкая и любимая земля.

Зимой 1932 года я поехала в отпуск в Союз: Новый год встретила в Москве, а потом отправилась в Свердловск к родителям. Возвращаясь из Москвы в Рим, я остановилась в Венеции, где до тех пор еще не была. Мы условились, что Кин тоже приедет туда. Мы прожили там несколько незабываемых дней. Не помню, как называлась гостиница; перед ней совсем не было тротуара, надо было подвезжать в гондоле к самым дверям. Все это было знакомо по литературе, по живописи, и все-таки все на самом деле выглядело не так. У Блока Венеции посвящены три стихотворения, написанных в 1909 году, чудесные стихи, самая высокая поэзия. Эту высокую поэзию чувствовала я в этом необычайном, неповторимом городе, но было что-то диссонирующее; не знаю, как выразить мои ощущения. Наверное, ничего удивительного не было в том, что кое-где тихие воды каналов были загрязнены отбросами — в конце концов это же городские артерии...

Но все равно — это были удивительные дни: мы не думали ни о работе, ни о политике, ни о фашизме. Площадь Святого Марка, и голуби, и гондолы, и «дзуппа ди маре», и какое-то удивительное чувство отрешенности и покоя. Кин очень соскучился по мне, и мы встретились так, словно не видались очень давно, а на самом деле я была в Союзе всего месяц; мы были одни, вдвоем в сказочном городе. Не знаю, не могу передать, что было на душе. Иногда я спрашивала себя, какие итальянские города нравились мне больше всего. Трудно ответить. Может быть, Флоренция, может быть, Рим, но эти дни в Венеции были особенными и так мне и запомнились.

* * *

Я мало писала о поездках по стране. Между тем мы ездили часто, — кое-что у меня сохранилось в памяти, многое стерлось. Помню, что мне очень хотелось попасть в Сиену, это одно время превратилось в *idée fixe*, и почему-то получалось так, что я туда никак не попадала. Но однажды, во время очередной автомобильной поездки, когда мы провели несколько дней во Флоренции и должны были возвращаться в Рим, я сказала, что хочу заехать в Сиену, больше не могу откладывать, ничего не могу с собой поделать. Мы приехали в Сиену, Кин оставил меня там и, не остановившись хотя бы на два часа, уехал в Рим, у него были там неотложные дела. Он завез меня в гостиницу. У меня не было с собой никаких документов, но итальянцы не формалисты. Я переночевала в гостинице и рано утром пошла осматривать знаменитый Сиенский собор. Я твердила стихи Блока:

Когда страшишься смерти скорой,
Когда твои неярки дни, —
К плитам Сиенского собора
Свой натруженный взор склони.

Мне не хотелось уходить из Сиенского собора и не хотелось уезжать из Сиены.

Мне нравилась легенда: Сениус, сын Ромула, бежал из Рима, спасаясь от преследований Рема, и основал этот город, носящий его имя: Сиена. И когда он принес жертвы богам, прося их о процветании нового города, белое облако поднялось над костром, зажженным в честь Дианы, и черное — над костром, посвященным Аполлону. Отсюда — белый и черный цвета на славном древнем гербе Сиены, а потом (при Каролингах?) слово «*libertas*» — золотые буквы на синем фоне, а потом — уж не помню когда — ко всему этому прибавился белый лев с поднятыми лапами на красном фоне. Если я ошибаюсь, прошу не взыскать — так мне запомнилось, может быть, не вполне точно.

В то время я много читала разных книг по истории Италии, знала о гражданских войнах, знала о чуме. Мне кажется, я не ошибаюсь, что именно в Сиене я видела поразившую меня похоронную процессию: люди и лошади в белых балахонах с щелочками для глаз и для носа. Мне объяснили, что этот обычай остался со времен чумы. Эти похороны — одно из сильнейших моих итальянских впечатлений.

Конечно, я знала и о сиенском традиционном палио (конные состязания, проходящие согласно сложному и красивому ритуалу, берущему начало в средневековье), знала о том, что районы города называются контрада, и о том, как проходят состязания. Но мне не удалось самой увидеть палио — когда я приехала, в городе не происходило ничего экстраординарного. Но все равно он был прекрасен. Я не могла сразу уехать оттуда, послала Кину телеграмму и провела в Сиене целых четыре дня; каждый день ходила в собор, в Пинакотеку и просто бродила по улицам. Сиенская Пинакотека обладала такими сокровищами, что, мне казалось, могла поспорить с самыми прославленными картинными галереями Италии. Многое, конечно, забылось, но что-то осталось не столько в памяти, сколько в сердце, — удивительные сиенские мадонны, такие нежные, что нет слов: Франческо ди Джорджо, Сано ди Пьетро, Амброджо Лоренцетти. Я называю то, что сейчас приходит на ум. Странное это чувство, когда первый (и может быть, последний) раз в жизни попадаешь в какой-то город. Странное, сложное. Особенно сильное, когда подъезжаешь к городу на машине вечером или ночью и, приближаясь, видишь огни. Я испытывала это чувство много раз, и всякий раз оно свежее и неожиданнее — в Италии, во Франции, в Бельгии, в Швейцарии. Были годы — много, много позже, когда у меня не было уже ни мужа, ни сына, я жила одна и припоминала эти города. И картинные галереи припоминала, те, которые любила больше всего, например галерею Боргезе, галерею Дориа, картины в Питти и Уффици, музей Родена в Париже, Эрмитаж...

Но было и другое чувство: постоянно повторяющегося, вновь возникающего

очарования, которое раз от разу становилось как будто все сильнее. Так бывало у меня всегда, когда я приезжала во Флоренцию (я там была много раз) и знала, что вот сейчас увижу пиацца Синьория, вот пройду к понте Веккьо, вот опять буду стоять неподвижно перед картинами Боттичелли. И то же самое — в некоторых уголках Рима, когда дух захватывало от папского герба на какой-нибудь как будто самой обыкновенной стене: гербы с пятью шарами рода Медичи, гербы с орлом и драконом, гербы с пчелами (кажется, Варберини?), или когда подходишь к фонтану с черепахами, или к лестнице, которая ведет от пиацца дель Пополо к Монте Пинчо. Совершенно то же чувство неизменного волнения и какого-то душевного подъема испытывала я всякий раз в Ленинграде около памятника Петру.

Вот я пишу это и ловлю себя: риторика? Честное слово, нет. Я не позволяю себе никаких, как у нас говорят, «красот стиля». И мне все время приходит на память разный смешной вздор, вот хотя бы о Флоренции. Можно ли представить себе более поэтический город? И — очень любимый. А у меня вдруг возникает в памяти мелодия какой-то глупой песенки с совсем глупыми словами...

А теперь надо вернуться к осени 1933 года. В сентябре нам предстояло расстаться с Италией: Кина переводили в Париж. Нет сомнения, что с точки зрения работы заведовать отделением ТАСС во Франции было несравненно сложнее, интереснее и, я бы сказала, почетнее, чем оставаться в Риме. Кроме того, наша поневоле замкнутая жизнь в Риме уже немножко приелась — хотелось окунуться в атмосферу Парижа, встречаться с разнообразными людьми, приобщиться к французской культуре. Еще в начале лета 1933 года начальство сообщило Кину о предстоящем переезде, но дело затягивалось: не могли подобрать нового корреспондента в Рим. Муся хотела поехать в отпуск к себе, в Ленинград. Кин все время удерживал ее, утверждая, что так получится, что мы уедем без нее, но ей казалось, что она успеет вернуться.

Кин, однако, оказался прав. Неожиданно пришло распоряжение срочно переезжать в Париж. Дела итальянского отделения ТАСС были временно переданы кому-то из работников нашего полпредства. Предстояла разлука с Марией, и это оказалось очень тяжело для нас и для нее. После нашего отъезда она должна была перейти на работу к нашему полпреду Владимиру Петровичу Потемкину. Я лишь вскользь упоминала о нем и о его жене Марье Исаевне. Теперь их обоих нет в живых. Это была очень трогательная чета. Марья Исаевна обожала мужа. Он мне рассказал однажды, как во время гражданской войны болел тяжелейшим сыпным тифом и как Марья Исаевна, узнав о его болезни (она не была ни женой его, ни невестой), преодолев тысячу препятствий, приехала к нему и стала за ним ухаживать. После этого он на ней женился.

Владимир Петрович был в довольно официальных отношениях с Кином, но очень тепло относился ко мне и впоследствии считал меня своей ученицей. Как это случилось, я расскажу позднее. Пока что скажу только, что оба они обещали мне заботиться о Марии и всячески ее обласкали, — они знали ее хорошо, так как не раз бывали у нас. Но Мария была неутешной, и я тоже. Все время, пока шли сборы к отъезду, в доме у нас были сплошные слезы: плакала Мария, плакала я. Кин не выносил женских слез, но тут он молчал: понимал, что причина серьезная.

Наступил день отъезда. Нас тепло провожала вся колония. Марии я оставила множество вещей для хозяйства, а она принесла мне скатерть, которую сама вышила. Я ее просила не плакать на вокзале, но она не смогла удержаться. Расставание с ней омрачило наш отъезд.

Больше я никогда не была в Италии. Кин провел там несколько дней в декабре: корреспондент ТАСС все еще не был назначен, а между тем в Рим приехал Максим Максимович Литвинов и Кину поручили эти дни пробывать в Риме. Когда Мария внезапно увидала Кина в столовой у Потемкина, она, нарушая весь ритуал этого дома, бросилась ему на шею, опять-таки с ревом. Эти дни Кин жил в полпредстве. Сохранилась фотография, на ней Литвинов, Кин и другие люди.

Коллеги Кина по Ассоциации иностранных журналистов устроили в его честь прием, а мне послали милую открытку. Она случайно сохранилась, датирована 7 декабря 1933 года. Мне она дорога, так мало осталось у меня каких-нибудь следов этих лет.

На открытке много подписей — кажется, я насчитала девятнадцать. Как мне досадно, что я смотрю на подписи и не могу вспомнить никого из этих людей, — смутно-смутно что-то шевелится в памяти, но ни одного отчетливого образа.

Как я завидую людям с хорошей памятью. Насколько интереснее могли бы получиться и эти страницы, если бы я все хорошо помнила или если бы хоть дневники вела в свое время, что ли... И вот сейчас, когда надо перевернуть страницу и перенестись в Париж, мне жаль расставаться с Италией. О скольких вещах я не рассказала и не сумела вспомнить, а ведь это было, и было мне дорого: как мы ездили на Пинчо любоваться закатом, и на Джаниколо — в честь Гарибальди, и в Тиволи — это буйное великолепие воды, и в Остию — купаться и ужинать в маленьком ресторанчике, и как любовались неправдоподобно красивыми павлинами на вилле, которую подарила Муссолини какая-то американская поклонница-миллионерша (как же называлась эта вилла?). И как однажды Кин привел меня в заведение, называвшееся Библиотека. Там была полная иллюзия шкафов, заставленных книгами в кожаных переплетах, а на самом деле в них стояли не книги, а бутылки с разными винами и ликерами. В залах были расставлены маленькие столики, а где-то — для большой компании — эти столы были сдвинуты. В одной комнате веселились какие-то фашисты (мне почему-то показалось, что это обязательно иерархи), но самым поразительным было другое: три пары за одним столом, три старухи, настоящие «пиковые дамы», декольтированные, раскрашенные, в драгоценностях, и с ними три молодых человека — явные альфонсы. Если бы это была одна пара, я, вероятно, не обратила бы на нее внимания — мало ли что бывает. Но три пары — в этом было что-то гротескное, очень жуткое и очень отталкивающее. В Библиотеке играли на гавайской гитаре. Я с ума сходила от гавайской гитары, она действовала на меня так, что я пьянела. Но в этой обстановке звуки гавайской гитары казались порочными, противоестественными — не знаю, как выразить это чувство. Над всем, что мы видели в этих комнатах, царила эта страшная триада — эти три глубокие старухи, наглые в своих декольте и драгоценностях, эти молодые пошляки, такие ничтожные, мужчины-проститутки...

И — какая нелепая ассоциация, но почему-то она возникла у меня — вдруг вспомнилось, как однажды с балкона палаццо Венеция Муссолини произносил речь, и пошел дождь, и сотни людей, как по команде, вытащили черные зонтики и, стоя под зонтиками, слушали дуче. И вспомнилась одна его речь, когда он кричал: «Долой югославский империализм! Да здравствуют львы Трау!»

Но не на этом надо заканчивать воспоминания об Италии, это было бы несправедливо. Почему я не рассказала о том, как восхитил меня народный праздник в день Сан Джованни (в жизни я не видала такого веселья и такой иллюминации — чудеса пиротехнического искусства!), и как мы вместе с многими тысячами римлян принесли маленькие стульчики и много часов сидели на площади Святого Петра, ожидая, пока над толпой под балдахином пронесут папу и он будет благословлять народ. Ведь это был святой год, но какой же это был год? 1931, 1932 или 1933? Я не помню. И мы терпеливо сидели там под палящим солнцем и покупали воду, простую воду, которой торговали предприимчивые мальчишки, наверное, такие же мальчишки, что так ловко вилавливали монеты, которые бросали в фонтан Треви. И как я десятки раз приходила в Сикстинскую капеллу и, кажется, наизусть знала «Страшный суд» и роспись стен, но мучилась, задирая голову, чтобы рассмотреть потолок, пока однажды не поступила так, как многие: легла на пол и принялась не спеша разглядывать и могла понастоящему насладиться всем этим великолепием.

Боже мой, как много написано, а самые дорогие, самые трудно уловимые воспоминания и ощущения, наверное, не удалось передать. Цветы, удивительные

римские цветы на пиацца ди Спанья, у подножия лестницы, и Колизей при лунном свете, и башня Святого Ангела, которую Кин столько раз фотографировал. И кафе Греко, любимое Гоголем, куда я столько раз приходила, и маленькие траттории, и маленькие кинозалы, где перед началом сеанса выступали певцы, и не дай бог сфальшивить — публика реагировала мгновенно и без всякой деликатности. И приветливая сердечность римлян: как охотно объясняли они иностранцам все, о чем их спрашивали. Однажды мы с Мусей не вполне точно знали, как пройти куда-то, и спросили, — но все же знали достаточно, чтобы понять, что нам дают неправильное объяснение. Нам совсем незачем было сворачивать туда, куда советовал приветливый, словоохотливый горожанин, которого мы спросили. Но он так хотел помочь двум молодым синьорам и с таким темпераментом все нам рассказывал, жестикулируя и улыбаясь, что мы не смогли его обидеть и шли в заведомо неправильном направлении, пока он мог видеть нас, и лишь потом вернулись обратно и свернули туда, куда было на самом деле нужно. Швейцарская гвардия в средневековых костюмах у входа в Ватикан, и Гротта Адзура в Неаполе, опускаешь руку в воду — и рука голубая. И окрестности Неаполя (я была там несколько раз), и прогулка на осле (ох, это была смешная история: мне попался осел с невероятно плохим характером, двигался лишь в том случае, если сам считал это нужным, а то останавливался и начинал объедать кусты — в общем, это было сплошное наказание)...

Я пишу все это и понимаю, что надо поставить точку, нельзя до такой степени злоупотреблять возможностями мемуарного жанра. Но мне жаль ставить эту точку. В Италии закончилась моя юность. Тут дело даже не только в возрасте, а, вероятно, и в жизненном опыте. В Париже все пошло иначе. Я уже не была той девочкой, которая могла, не задумываясь, подойти к группе иерархов и спросить «который Муссолини?» Что-то изменилось в психике, в характере — в отношении к жизни, пожалуй.

Мы не знаем своей судьбы, и только это, конечно, позволяет жить. Разве могла я знать, что судьба готовит мне? Но потом, в самые трудные годы, воспоминание об Италии согревало меня. Мне жаль, что в силу тогдашних условий мы так мало могли общаться с людьми. Но все равно, я чувствовала итальянцев, и мне кажется (может быть, это и заблуждение), что я как-то сроднилась со страной. Думаю, что это именно так, в противном случае сейчас я писала бы свои статьи об итальянской политике и культуре с большим хладнокровием. А я не могу. У меня какое-то личное отношение к людям и к событиям, происходящим в Италии: я радуюсь, возмущаюсь, надеюсь или отчаиваюсь — в зависимости от того, что делается там. Радуюсь каждой удаче: хорошей книге, хорошему фильму, выигранным социальным боям. Возмущаюсь, если сталкиваюсь с жестокостью, лицемерием и предубежденностью, а ведь и это — увы — часто бывает.

* * *

Два с половиной года работы в фашистской Италии дали Кину богатый опыт, и когда в сентябре мы переехали в Париж, он чувствовал себя вполне подготовленным к этой новой, несравненно более ответственной, нежели в Италии, работе.

Было еще одно обстоятельство, чисто личное, которое делало для нас еще более желанным переезд в Париж. Дело в том, что там с мая 1933 года работал Антон. Он был назначен первым секретарем полпредства и исполнял обязанности генерального консула. Начиная с Дальнего Востока у Кина не было друзей ближе, чем Антон. Я тоже очень любила его, и не будет преувеличением сказать, что наш дом всегда был его домом. Когда Антон женился, его жена Соня, добрая и умная, легко вошла в наш круг. И вот теперь они ждали нас в Париже. Кин, верный своему характеру, дразнил Антона, уверяя, что тот «противопоказан для заграницы» из-за своей чрезмерной серьезности, — надо ли говорить, что Антон был отличным работником, и Кин это хорошо знал. Нам было очень

приятно, что опять будем жить в одном городе, видаться, как прежде, почти ежедневно.

В Париже Кин возглавил отделение ТАСС. Оно помещалось на улице Во-жирар, 148,— здесь же была квартира, предназначенная для корреспондента и его семьи. Французским языком Кин владел свободно: он легко усвоил разговорную речь в детстве, болтая со своими двоюродными братьями. (Дядя Кина А. Н. Илларионов в 1905 году подвергался преследованиям со стороны полиции и эмигрировал с семьей во Францию, а потом они вернулись в Борисоглебск.) Кроме того, перед отъездом за границу Кин брал уроки французского. В Италии первое время было сложнее: мы ехали туда, совершенно не зная итальянского и наивно полагая, что «родственные романские языки»... Увы! Еще в поезде, по пути в Рим, мы тщетно пытались упросить соседей разбудить нас, когда будем подъезжать к «Вениз» (так по-французски называется Венеция). Итальянцы вообще очень благожелательны и снисходительны к иностранцам, коверкающим их прекрасный язык, но «Вениз» — этого уж никто не понял. А откуда нам было знать, что по-итальянски Венеция никакая не Вениз, а попросту Венеция! Таких анекдотов случилось множество.

В Италии у Кина, кроме меня, был всего один помощник, некий синьор Баттистоне, приличный, несколько запуганный, совершенно аполитичный человек; первое время он помогал Кину, переводя трудный итальянский текст на французский. Но в Париже все обстояло иначе, и Кин с первых дней чувствовал себя уверенно. Однако характер и масштабы работы были совершенно иными, чем в Италии. Надо было быстро освоиться с политической обстановкой, с механизмом парламентской игры, с многопартийной системой, разобраться в реально существовавших общественных противоречиях. Кин с головой ушел в работу. Полпредом в то время был высокообразованный, прекрасный человек Валерьян Савельевич Довгалецкий, но он тяжело болел и в 1934 году умер. Первым советником, затем поверенным в делах был, как я уже писала, Марсель Розенберг. Он на первых порах очень помог Кину, познакомив его с крупными политическими деятелями: Эррио, Даладье, Влюмом, Дельбосом, Манделем и другими лидерами. Кин — уже без посредничества Марселя — познакомился и подружился с некоторыми товарищами из руководства Французской коммунистической партии и из «Юманите», в частности с Полем Байян-Кутюрье.

Впоследствии, когда объем работы еще более вырос, Кину дали помощника: вначале приехал М. Б. Чарный, потом его сменил Н. Г. Пальгунов. Кроме того, в отделении ТАСС уже много лет работали два французских товарища, коммунисты Буайе и Газо. Нарочно не придумать ситуации, при которой годами работали бы бок о бок такие диаметрально противоположные люди. Буайе считался литературным сразником, он читал часть прессы (ежедневно приходилось читать несколько десятков парижских и влиятельных провинциальных газет) и обязан был информировать Кина о прочитанном. Он был овернец, замкнутый, молчаливый, медлительный. Кин с большим трудом вытаскивал из него сведения и однажды, когда уж терпение лопнуло, напрямик спросил Буайе, не может ли тот все-таки хоть немного подробнее рассказывать. Последовал неожиданный ответ: «*Camarade Kín, les paroles me fatiguent*» («Товарищ Кин, слова меня утомляют»). Этот аргумент сразил Кина наповал. Полной противоположностью Буайе был гасконец Газо, бывший рабочий-металлист, исполнявший в ТАСС одновременно обязанности кассира, курьера, агента для поручений. Живой, веселый, остроумный, неизменно благожелательный, Газо обладал блестящей памятью и мог часами рассказывать всякие эпизоды и происшествия. В 1936 году Газо в составе одной из делегаций французских трудящихся приехал в Москву, и мы рады были возможности принять его и показать достопримечательности Москвы, как он когда-то показывал нам Париж.

Я не стану ничего говорить о Париже, потому что все равно не найду нужных слов. Каждый вечер мы бродили по городу, узнавая улицы, церкви, здания, так хорошо знакомые по литературе. Кин много фотографировал, его парижский

альбом был разнообразным и богатым. Мы окунулись в атмосферу, ничем не напоминавшую Италию: в Риме все было чопорно и провинциально, летом, в адскую жару, мужчин без пиджака не пускали в трамвай. В трамваях запрещалось «курить и плевать», а также «bestemmiare Dio e la Patria», то есть ругать и поносить бога и родину. И потом — все было несколько чрезмерно: слишком синее небо, слишком пышные пальмы, слишком желтая вода в Тибре.

А Париж... Единственное, что можно сказать о Париже: Кин всецело присоединялся к словам Маяковского: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва».

* * *

Очень много интересного рассказывал Кину о Париже Шарль Раппопорт, голосом которого говорила, казалось, сама История. В то время Раппопорт представлялся нам глубоким стариком, хотя на самом деле ему еще не было семидесяти. Это была в высшей степени колоритная фигура. Его революционная деятельность началась в восьмидесятых годах прошлого века в России: он принимал участие в подготовке покушения на Александра III. В 1887 году он эмигрировал, за границей участвовал в основании «Союза русских социалистов-революционеров». Однако уже в 1902 году он примкнул к социал-демократии и впоследствии стал одним из основателей Французской коммунистической партии. Раппопорт был доктором философии, ярким публицистом, много лет работал корреспондентом «Известий», русский язык помнил хорошо. С нашим полпредством он, естественно, дружил, бывал там. Кин ему очень понравился, и он стал частым гостем на улице Вожирар. Кин никогда не уставал слушать его рассказы — один другого интереснее. Раппопорт был близким другом Анатоля Франса и Жореса, он говорил нам, что находился за столиком кафе вместе с Жоресом в день убийства. Был Шарль Раппопорт типичным «профессиональным революционером», рассказывая, сам увлекался, иногда переходил с русского на французский, вставляя словечки из аргю. Раппопорт издавал какой-то журнальчик, не помню его названия и, грешница, никогда его не читала. Знаю только, что на издание это он тратил все свои деньги, довольствуясь самым минимумом, чтобы не умереть с голоду, и зачастую также деньги своих друзей, у которых никогда не хватало духа огорчить старика отказом. Товарищи рассказывали, будто именно под влиянием Шарля Анатоля Франс заинтересовался идеями научного социализма и сблизился с коммунистической партией.

Кин неплохо знал историю Франции. Разумеется, он очень много читал по истории Великой французской революции и Парижской коммуны, но, кроме того, в связи с работой над романом «Лилль» он специально занимался историей Третьей республики, — прекрасная книга Зевазса, так, кажется, и называвшаяся: «История Третьей республики», — была настольной.

Но только приехав в Париж, познакомившись с людьми, много раз побывав в палате, он раскусил суть парламентской кухни. Вот одна сохранившаяся запись, сделанная в присущей Кину своеобразной манере.

«1933. Париж.

Депутаты могут без помехи обсуждать финансовый проект правительства.

Внутри парламента идет заседание. В полукруглом здании амфитеатром расположены обитые красным скамьи депутатов. В центре плотной массой сидят депутаты правящей партии, — имеющей в парламенте большинство: радикалы-социалисты. Все это плотная, солидная, упитанная, мордастая и широкозадая публика, самоуверенная и благомыслящая. Они выдвинуты сюда преуспевающей Францией, рассудительными и спокойными людьми, заповедью которых является: «никаких перемен — спокойствие прежде всего». Они не хотят ни потрясений, ни рискованных опытов справа и слева, они за твердый франк, они за неизблемость устоявшихся, привычных форм жизни. Они хотят бороться с кризи-

сом и вести страну вперед, не двигаясь с места. Смелая мысль — не правда ли? — для огромной массы французского населения, пережившего войну и инфляцию, в этой программе есть непобедимое очарование.

По обе стороны от радикалов расходятся, редая и мельчая, правое и левое крыло. Направо парламент стареет: депутаты становятся все тучнее, лысее, морщинистей; тощие желчные старики сидят попеременно с благодушными патриархами. Обилие склеротических конечностей и апоплексических затылков. В этой тлеющей груди свято хранятся традиции и воспоминания 70 годов, времена маршала Мак-Магона и Национального собрания, рычавшего и вопившего при одном слове «республика», времен «септенната», построившего на Монмартре церковь Сакре Кер во искупление «зверств Коммуны» и проводившего «моральный порядок» митральезами линейных войск.

Впрочем, не следует думать, что они так и остались на старых позициях. Они не кричат теперь «долой республику!».

* * *

А теперь расскажу о том, как сложилась в Париже жизнь для меня лично. Буквально в первый же день после приезда из Италии я была официально зачислена на работу в наше полпредство референтом отдела печати. Работа могла быть средней интересной или очень интересной, могла отнимать немного сил и времени или поглощать человека целиком — все зависело от характера, вкусов, отношения к делу и степени увлеченности того, кто этой работой занимался. Я ушла в нее с головой. Официально круг моих обязанностей сводился к тому, чтобы читать прессу, ежедневно утром делать короткую устную информацию полпреду и его ближайшим сотрудникам о самых главных событиях внутренней политической жизни Франции и международных в интерпретации французской печати, а потом, после информации, читать прессу уже тщательнее и готовить сводку для Москвы. Сводка посылалась примерно раз в месяц диппочтой. До меня она делалась довольно механически: что пишет французская печать о Советском Союзе. Больше ничего. Мне показалось, что это не так уж интересно, и я начала вводить новшества.

Вскоре после того, как мы приехали в Париж, мы устроили Левушку в одной прекрасной французской семье, жившей во Флери Лез Обрэ, вблизи Орлеана, в маленьком домике в поселке железнодорожников. Глава этой семьи был железнодорожный машинист Бесс, во время войны — летчик, член Французской коммунистической партии. У него была славная, милая жена, добрая мать и сын Раймонд, который был старше Левушки на год. Мы были спокойны за нашего мальчика, которому жилось хорошо и спокойно в семье и на свежем воздухе. Он так подружился с Раймондом и ему так нравилось в школе, что он, кажется, не очень скучал о нас. Я столько работала, что не могла бы уделять ему достаточно внимания. Темпы жизни в Париже были совсем иными. Вспоминая о том, как мы жили в Италии, я просто не верила себе: сплошная идиллия, дом отдыха. В Париже день проходил так, — нет, надо раньше описать нашу квартиру: помещение ТАСС, комната Кина, моя комната, кухня и комнатка для нашей работницы наверху. У нас служила красивая и умная молодая женщина Ивонна, с очень трагической судьбой. Она работала у каких-то буржуа, выпала из окна, когда мыла оконные стекла. Ивонна сломала себе ногу и навсегда осталась хромой. Поэтому она не вышла замуж. Она сама мне рассказала всю эту историю, говорила спокойно, как-то примиренно. Ее бывшие хозяева, в доме которых все это случилось, не чувствовали никакой моральной ответственности перед Ивонной и довольно быстро уволили ее после того, как она вернулась из больницы. Произошло все это, когда Ивонна была совсем молоденькой, а когда она пришла к нам, ей было уже за тридцать.

Утром, в восемь часов, Ивонна спускалась из своей комнаты в кухню, и ежедневно повторялось одно и то же: «Ивонн!» — «Мадам!» После этого она

заходила ко мне с утренней почтой, чашкой кофе и бриошью. Я проглатывала кофе, успевая в то же время прочесть обязательную ежедневную статью Пертинакса в «Эко де Пари». Это был поразительный журналист и, по моему убеждению, очень крупный политик. В Париже говорили, что Пертинакс сбивает дюжины премьер-министров, потому что те приходят и уходят, а Пертинакс изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год пишет свои статьи по вопросам иностранной политики и формирует общественное мнение. Словом, я была большой поклонницей Пертинакса. Впоследствии мне довелось с ним познакомиться, но об этом — позже.

Прочитав «Эко де Пари», я отправлялась в полпредство на рю де Гренье, 79. Кин в это время обычно еще спал, у него сохранилась прежняя привычка допоздна работать и вставать только около десяти. К одиннадцати утра я обязана была уже знать все основные новости, так как в одиннадцать бывала информация. Наш полпред, Валерьян Савельевич, очень редко бывал в своем кабинете, страшная болезнь уже одолевала его. Поэтому, как правило, собирались в кабинете Марселя. Присутствовали второй советник и секретари полпредства, а также атташе — военный, морской, воздушный. Все знали язык, и поэтому я читала нужные цитаты по-французски, не переводя. Однако, когда приехал новый военно-воздушный атташе Васильченко, оказалось, что он не понимал по-французски, и мне приходилось из-за него переводить цитаты. Все это происходило в очень быстром темпе, и я помню, как однажды мою информацию прервали взрывом хохота. Речь шла как раз об итало-абиссинской войне и, казалось, смеяться было не из-за чего. Но потом выяснилось, что я сказала: «итальянские трупы заняли такой-то населенный пункт». По-французски «les troupes italiennes» — итальянские войска, и я механически перевела слово «les troupes» как «трупы», и меня потом долго дразнили этим.

Я уже упоминала о том, что мне казалось скучным писать механические сводки, и как только я почувствовала себя уверенней и поняла, что владею материалом, я стала придумывать для своих обзоров темы, казавшиеся мне интересными: «франко-германские отношения», «франко-итальянские отношения» и т. д. Помню, как я умоляла Марселя читать мои произведения, — он неизменно отказывался: у него создалось впечатление, что «девочка развлекается, ну и пускай», но тратить время на чтение моих докладов не считал нужным. Однако однажды произошло что-то необычайное: Марсель ездил в Женеву для свидания с Максимом Максимовичем Литвиновым, и Кин тоже поехал туда. Во время общего разговора Литвинов вдруг сказал Кину: «Ваша жена пишет интересные вещи». Кин еще оставался в Женеве, а Марсель вернулся в Париж. Неожиданно и очень небрежно он сказал мне: «Покажи мне эту свою писанину». Я даже не сразу поняла, что он имеет в виду, потом очень обрадовалась и спросила, что именно принести. «Ну, за последние два-три месяца». И ни словом не обмолвился насчет Литвинова, — о разговоре с Литвиновым мне рассказал через несколько дней Кин, который всем этим был очень доволен.

Я, кажется, еще не писала, что Кин презирал меня за то, что я не хотела изучать Гегеля и Канта, тогда как он сам увлекался философией. Вообще, если что-нибудь ему не нравилось, он говорил мне: «А вот я тебя в пастухи отдам». Но если что-либо у меня получалось хорошо, тут была формула: «обучил-таки свою старуху» (даже тогда, когда мне было восемнадцать лет). В данном случае он был доволен замечанием Литвинова, которого очень уважал, как и все мы. Что касается Марселя, то он, верный себе, прочитав «писанину», только махнул рукой.

В общем, наша жизнь в Париже ничем не напоминала римскую. Целый день напряженной работы; только вечерами мы большей частью принадлежали себе. Кроме того, множество знакомств. То, что было исключено для нас в фашистской Италии, естественно, оказалось доступным и желательным во Франции. У Кина было больше возможностей, чем у меня, поскольку он был, так

сказать, вольной птицей — журналистом, я же была сотрудницей посольства. Но Марсель сам регулировал это. Благодаря ему я познакомилась со многими видными французскими деятелями, в частности с Ивоном Дельбосом, бывшим впоследствии министром иностранных дел, с Манделем, с Венсаном Ориолем. Мы встретились в Париже и очень подружились с Филоменой Нитти, дочерью итальянского лидера Франческо Саверио Нитти, бывшего до прихода к власти фашистов премьер-министром. После фашистского переворота Нитти эмигрировал вместе со своей семьей. Филомена много рассказывала о своих родителях и о дедушке-гарибальдийце. Она была очаровательна: красивая, женственная, изящная и умная. Уже в последние годы мне пришлось видеть в итальянских газетах фотографии Филомены и ее мужа профессора Бовэ в связи с присуждением ему Нобелевской премии. Мне было очень приятно посмотреть на Филомену. Я очень рада, что она счастлива.

* * *

Не помню точно, когда это было, но как будто уже поздней осенью 1933 года или в начале зимы. К нам в гости приехали Илья Григорьевич Эренбург и его жена Любовь Михайловна. Пожалуй, мы знали почти все или даже все вещи Эренбурга. Кину очень нравились романы «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.» Но некоторые другие книги Эренбурга, в частности «Любовь Жанны Ней», он активно не любил, не любил и «Тринадцать трубок», говорил, что это «вторично». При всем том он, разумеется, считал Эренбурга необыкновенно одаренным и крупным писателем.

Не знаю, как поточнее выразить мое впечатление от Эренбурга. Пожалуй, правильно сказать, что он меня ошеломил. Он рассказывал кучу вещей, одна другой интереснее. Казалось, что в Париже и о Париже он знал решительно все, включая такую изнанку событий, такую подноготную, что уму непостижимо. Он рассказывал, держа слушателей в большом напряжении, как опытный мастер лепить сюжеты. Там была история некоей мадам Анно, которая, если я не путаю, была издательницей. Целая новелла: политика, уголовщина, страсти, предательство, деньги, своеобразный парижский колорит. И все это рассказывалось в какой-то своей, неповторимой, эренбурговской интонации, которую я вспоминала, читая «Люди, годы, жизнь».

Эренбурги были у нас, помнится, еще один или два раза за все два с половиной года, а мы у них дома не были, но бывали их гостями в кафе «Клозери де лила», где они, кажется, всегда заканчивали свой день. Однажды Илья Григорьевич читал на вечере в полпредстве главы из романа «День второй»; воспринимали люди по-разному, Кин — сдержанно.

Близкие отношения у Кина с Эренбургом не сложились и, мне кажется, не могли сложиться. Очень уж все было разное: среда, интеллектуальное формирование, биографии. Может быть, у Кина (да и у меня) была известная нетерпимость или пристрастность в нашем отношении к людям.

* * *

Сейчас мне вспомнилось, как мы с Кином были на новогоднем приеме у президента Французской республики. Это было 31 декабря 1933 или 1 января 1934 года, не помню точно. Помню, что в Елисейском дворце набилось, наверное, не меньше тысячи человек: дипломатический корпус, пресса, всякие французские деятели. Там я видела «бессмертных» академиков в довольно нелепых костюмах, очень декольтированных дам в драгоценностях, кучу каких-то непонятных людей, которые буквально брали приступом буфеты. Кин был во фраке, который ему очень шел, и насмешливо поглядывал на всю эту толчею. Там было жарко, хотелось пить, но для того, чтобы взять хоть стакан лимонада, надо было смешаться с толпой, и мы этого не хотели. Никакого президента республики мы так и не увидели, от приема осталось странное впечатление суеты и, я

бы сказала, невоспитанности. Кин комментировал все это очень иронически и презрительно.

Воспоминания о Париже — пестрые. Сейчас мне вспомнились парижские белогвардейцы. Вспомнились потому, что некоторые шоферы такси — белоэмигранты — в день всеобщей забастовки двенадцатого февраля 1934 года выступили как штрейкбрехеры, и французы с ними расправились на славу: машины были сброшены в Сену. Это было справедливо и очень здорово, мы от души разделяли возмущение французских рабочих. С белогвардейцами-шоферами приходилось сталкиваться часто. В Риме белых видела только раз. Мы в музее стояли перед божественной статуей Афродиты Каренской, у которой, как известно, нет головы и рук. И вдруг я услышала фразу, может быть, произнесенную случайно, а может быть, для того, чтобы «эпатировать» меня: «А наверное, была хорошенькая!» Я невольно оглянулась на этого пошляка, он захихикал. Больше я в Италии русских белых не видала.

Но во Франции у меня лично было много встреч, причем каждый раз обстоятельства складывались по-разному. Была история, когда я села в машину и сказала: «Рю де Гренель. 79», — на что последовало: «Сволочей не возим!» Практически я была бессильна против этого негодая, не драться же мне с ним было и не сообщать же в полицию. Были, однако, и совсем другие случаи. Таксисты заговаривали, расспрашивали о России, о Москве, чувствовалось, что они тоскуют о родине которую покинули, и продолжают ощущать себя русскими. Однажды таксист довез меня до здания полпредства и ни за что не хотел взять деньги. Я настаивала, он уперся. Сначала он сказал мне, что не может взять: ему так приятно везти «своих» и поговорить по-русски. Наконец заявил, что он член Союза возвращения на родину, а деньги просит меня отдать в МОПР. Кину однажды поручили сделать доклад о празднике Первое мая в этом союзе. Он рассказывал мне, что его встретили очень горячо и что, по его впечатлению, люди там искренне хотели вернуться. Впрочем, он добавил, что много там, наверное, и всяких сомнительных типов, а то и провокаторов.

Недавно были опубликованы интереснейшие воспоминания покойного В. Сухомлина «Гитлеровцы в Париже». Из них мы узнали о том, как отважно и благородно вели себя некоторые русские «белые», погибшие в борьбе против фашистов. Это произвело на меня большое впечатление. Никогда нельзя верить схемам, жизнь неизменно и решительно опрокидывает их.

Наш полпред Валерьян Савельевич Довгалеvский умер в парижской клинике от рака. Все оплакивали его. Практически он уже давно не мог работать, и полпредство возглавлял Марсель. Но хотя все и знали, что состояние Довгалеvского безнадежно, на душе было очень тяжело.

Это была не первая смерть. Раньше умер Анатолий Васильевич Луначарский. Назначенный послом Советского Союза в Испании, он так и не доехал до Мадрида. Он очень тяжело заболел и мучительно умирал, вначале в Париже, потом его увезли в Ментону. До конца он сохранил не только ясность мысли, но и острый интерес ко всему, что происходит в мире. Кин часто бывал у Анатолия Васильевича, рассказывал ему французские и международные новости, он очень переживал трагедию Луначарского.

Гражданская панихида состоялась в полпредстве: Анатолий Васильевич показался мне очень старым, а ведь ему не было и шестидесяти. Я стояла, смотрела на него и вспоминала, как в 1928 году слышала его доклад о Чернышевском — в Большом театре в связи со столетием со дня рождения Чернышевского. Никогда в жизни я не слышала ни до, ни после такого оратора. Он говорил изумительно, держал в напряжении огромную аудиторию. Луначарский говорил почти два часа, ни разу не заглянув в какие-нибудь записи; в театре стояла совершенная тишина, никто не кашлянул, как будто боялись дышать. И когда Луначарский сказал, что вместе с нами в наших рядах идет наш товарищ Николай Гаврилович Чернышевский, в зале началось что-то неописуемое, я не слышала такой овации.

Луначарский был, конечно, человеком яркого, огромного таланта и светлого ума. Сейчас, когда я пишу все это, мне приятно думать, что в Италии живо откликаются на работы Луначарского, цитируют их. Он любил Италию, читал лекции о литературе эпохи Возрождения, о Данте, о Петрарке. И живопись итальянскую знал и любил... Но вот я опять вижу его в гробу: Наталья Александровна Розенель стоит в траурной вуали, и странно, что она такая изящная и нарядная рядом с гробом. И Марсель, глубоко расстроенный этой смертью, тихо говорит мне: «*Notre vie — c'est une sale petite chose*»¹.

В 1934 году, когда Советский Союз вступил в Лигу Наций, Марсель, как я уже писала, был назначен нашим первым представителем в ней. В это время Владимира Петровича Потемкина назначили послом во Франции, и вскоре, уже в 1935 году, мы встречали его и Марию Исаевну. Опять нас свела судьба, и на этот раз я работала уже непосредственно под начальством Владимира Петровича.

Мне хочется привести еще один отрывок из записных книжек Кина, датированный «1934, Париж»:

«Год начался во Франции вяло. Новостей не было. Газеты пробавлялись мелкой ерундой. В Марселе адвокат Сарре убивал клиентов, растворял их трупы при помощи серной кислоты в ванне и получившийся раствор ведрами разливал в саду своей виллы. Имущество жертв и страховые премии адвокат присваивал при помощи сложного юридического мошенничества. В Ланьи произошла катастрофа: при столкновении двух поездов было убито около 200 человек. В Англии, в озере Лох-Несс появилось чудовище с толстым веретенообразным туловищем, длинной шеей и змеиной головой...

Огромная безликая масса читателей газет вяло глотала ежедневное чтиво. Эти новости не вызывали возбужденного интереса. Все было ясно: адвоката отправят на гильотину, в катастрофе в Ланьи виноват стрелочник, чудовище будет изловлено и доставлено в музей или в зоологический сад. Скоро можно будет приходить кормить его морковью и дразнить зонтиками.

Однако накануне нового, 34-го года на серой поверхности газет обозначилось какое-то движение. Мелькнула пара заголовков, правда, вполне невинных, но опытные специалисты скандалов и эксперты сенсаций почувствовали нечто необычное. Профессиональная дрожь пробежала по гибким спинам репортеров. Новость шла кусками, из которых еще трудно было воссоздать все событие, угадывались только его туманные, но огромные очертания».

Кин имел в виду дело Ставиского, имя которого получило тогда мировую известность. Думаю, нет смысла подробно писать об этой колоссальной афере, в которой оказались замешанными многие видные политические деятели, правые и «левые», в том числе некоторые министры. Появилось сначала сообщение о самоубийстве Ставиского, потом выяснилось, что его пристрелила полиция. Разразился невероятный, грандиозный скандал, самоубийства, аресты, разоблачения. Весь режим оказался скомпрометированным. Помню, как понравилась Кину меткая и злая шутка сатирической газеты «*Le canard enchainé*» («Скованная утка»). Дело в том, что в афере Ставиского были замешаны газеты «*Либерте*» и «*Волонте*». Арестованных помещали в старинную парижскую тюрьму Санте. И вот газета предложила заменить официальный девиз республики «*Либерте, Эгалите, Фратерните*» (Свобода, Равенство, Братство) новым девизом: «*Либерте, Волонте, Санте*».

В связи с аферой Ставиского очень активизировались фашистские организации, в особенности «Боевые кресты» и «Французская солидарность». Они имели свою прессу, свой актив, свои кафе, где ежевечерне собирались, вербовали людей. Помню такой эпизод: как референт отдела печати полпредства, я обязана была следить за всей прессой, в том числе за фашистской. Мы не хотели, однако, выписывать ее по адресу полпредства, и было решено выписывать эти

¹ Наша жизнь — такая жалкая штука (франц.).

газеты и журналы на мое имя по домашнему адресу. И вот через некоторое время я стала регулярно получать повестки с приглашением посетить разные митинги и прочие мероприятия, организуемые фашистами. Кин с присущим ему юмором на все лады обыгрывал эту тему. В то время нас очень интересовала идеология и социальная база французского фашизма, очень многое в точности соответствовало идеологии гитлеровцев; они вербовали себе сторонников среди буржуазной молодежи, деклассированных элементов.

Шестого февраля 1934 года фашистские организации сделали попытку произвести государственный переворот. Они собрались на площади Конкорд, бесчинствовали там, стреляли, жгли автобусы, поджигали правительственные здания. Фашисты намеревались взять приступом палату депутатов, свергнуть правительство и установить режим диктатуры. Войска не дали им перейти через мост, и им не удалось ворваться в здание палаты. Однако правительство испугалось и ушло в отставку.

В этот день Кин, разумеется, не мог усидеть в ТАССе, он хотел собственными глазами видеть, что происходит в городе, и в самом деле увидел многое. Нам, работникам полпредства, строго-настрого запрещалось даже близко подходить к местам, где проходили демонстрации, митинги и другие политические выступления. Но и мы, нарушая приказ Марселя Розенберга (он был тогда поверенным в делах), все-таки не остались в здании полпредства, это было выше человеческих сил. Все мы любили Францию, чттили ее великие революционные традиции, 18 марта, как и тысячи парижан, приносили цветы к Стене коммунаров. То, что происходило в те дни во Франции, было и нашим переживанием, мы волновались вместе с французскими товарищами, ненавидели наглых фашистских молодчиков, возмущались нерешительностью правительства, но верили в народ. И наша вера оправдалась.

Девятого февраля состоялась демонстрация протеста: коммунистическая партия призвала трудовой Париж выступить против угрозы фашизма, за спасение республики. Руководство социалистической партии не поддержало призыва к демонстрации, но многие рядовые социалисты и социалистическая молодежь приняли в ней участие. А двенадцатого февраля, придя к соглашению, коммунисты и социалисты, руководившие различными профсоюзами, объявили всеобщую забастовку. Это было началом Единого фронта. Незабываемые дни, о них можно было бы рассказывать бесконечно много. Но я расскажу только, как Кин организовал передачу информации в Москву 9 и 12 февраля. Мне пришлось быть участницей этой работы, так как Марсель на несколько дней отпустил меня из полпредства, чтобы в ТАССе был лишний человек.

У нас на улице Вожирар было несколько телефонов. С начала года Кин добился возможности передавать в Москву информацию не по телеграфу, а по телефону. И вот он договорился с редакцией «Юманите» и еще с несколькими товарищами, чтобы они каждые двадцать—тридцать минут звонили в ТАСС из различных районов города, сообщая о том, что там в данный момент происходит. Все мы дежурили у телефонов, и нам действительно непрерывно звонили. Мы знали все, знали, что делается на площади Бастилии, на площади Насьон, в пригородах, знали, кто вышел на демонстрацию, где строят баррикады, что делает конная полиция, мы знали, когда пролилась первая кровь, мы словно чувствовали биение пульса великого города и были счастливы, понимая, что фашизм не прошел. Мы принимали информацию, записывали, записи мгновенно обрабатывались и непрерывным потоком по телефону передавались в Москву. У Кина где-то есть фраза: «Свежие, трепещущие под ножницами телеграммы», — я вспоминаю эти слова, думая о том, как блестяще, с какой инициативой, оперативностью и хваткой прирожденного газетчика организовал он работу парижского отделения ТАСС в те незабываемые дни.

Кин глубоко верил во французский народ, во французский рабочий класс. И сейчас мне хочется вспомнить об одном товарище французе, который работал в полпредстве и очень дружил с нами. Его фамилия — Ленканели. Во время пер-

вой мировой войны он, будучи солдатом, вел антивоенную пропаганду, его осудили, сослали на большой срок во Французскую Гвиану, там он заболел туберкулезом. Ленканели вступил в коммунистическую партию, как только она была основана. Он был высокоинтеллигентным человеком и образованным марксистом. В глазах Кина Ленканели олицетворял все лучшие черты французского народа: ясный ум, трезвость, чувство меры, как-то органически сливающееся с революционным мужеством, юмор, благожелательность, глубокую преданность идее.

* * *

В то время Италия была на редкость непопулярна в Париже. Итало-абиссинская война вызвала взрыв негодования у французской демократической общественности. Если и до того итальянский фашизм симпатиями отнюдь не пользовался, то война привела к тому, что имя Муссолини не произносилось иначе чем с отвращением и гневом. Помню один характерный для настроения парижан инцидент: знаменитая певица-негритянка Жозефина Беккер по какому-то поводу послала приветствие Муссолини. Об этом немедленно сообщили газеты, и ей устроили бойкот: не ходили на ее концерты. До этого она была очень популярна, весь город распевал ее песенку «J'ai deux amours — mon pays et Paris» — «У меня две любви — моя родина и Париж». Я сама ходила слушать Жозефину Беккер и восхищалась ею, как и все, но после такого ее поступка обструкция, устроенная ей парижской публикой, была вполне законной. Я знаю, что Жозефина Беккер впоследствии вела себя благородно: взяла на воспитание многих детей, — что ж, это хорошо, если только в этом не было саморекламы.

Однако надо вернуться к рю де Гренель и к работе, а то я слишком уж подчиняюсь «потоку сознания», как выражаются литературоведы, и все время перебрасываюсь с одного на другое. После приезда Владимира Петровича отношение к моей «писанине» решительно изменилось. Потемкин живо интересовался тем, что я делала, что писала: я не помню случая, чтобы Марсель за чем-нибудь ко мне обращался всерьез: в его глазах я оставалась девочкой, хотя мне уже было двадцать семь. Но Владимир Петрович давал мне много заданий и поручений, его живо интересовала пресса, и он доверял моему умению находить самое важное. Разумеется, я старалась оправдывать его доверие.

Должна сознаться, что я всю жизнь решительно ничего не понимала в технике, мне все это было неинтересно и казалось страшно трудным. Кин называл меня за это «бытовым уродом» и возмущался, что его жена никак не может запомнить даже названия слесарных или столярных инструментов, которых у нас в доме было полно. И вот мне как-то рассказали о том, что в английском посольстве в Париже существует какой-то аппарат, благодаря которому они получают всю информацию, идущую со всех концов света в агентство Гавас. Я не могла, разумеется, понять, что это такое, но была потрясена. С этого дня я начала приставать к Владимиру Петровичу, доказывая ему, что нам совершенно необходимо иметь такой же аппарат. Сразу уж скажу, что речь шла о телетайпе. В то время (не знаю, как теперь) эта штука стоила очень дорого, и на такой экстраординарный расход полпредство должно было получить разрешение из Москвы.

Не помню другого случая в моей жизни, когда я проявляла бы такую настойчивость. В конце концов Владимир Петрович тоже загорелся. Короче говоря, настал торжественный день, когда телетайп был привезен и установлен в холле, напротив моего служебного кабинета. Когда появилась первая лента, я испытала чувство настоящего блаженства. Оторвать меня от телетайпа было очень трудно. Все время шла лента и приносила новости, живые, самые последние, самые интересные. В этом было что-то необъяснимо привлекательное. Не знаю, как выразить то, что я чувствовала: наверное, где-то во мне говорил инстинкт журналиста, я не могла ни думать, ни говорить ни о чем, кроме того, что читала на этих лентах. После конца работы, когда надо было все-таки идти домой, я никак не могла оторваться, заставить себя решительно встать и уйти.

Одна новость казалась интереснее, значительнее другой, это было совсем не то, что читать газеты, где уже произведен какой-то отбор. Это было «сырье», драгоценная руда, первоначальные, исходные вещи.

Потемкин оказался жертвой своего великодушия: долгое время, пока я немножко не пришла в себя, я не давала ему покоя: мне все время казалось срочно необходимым рассказать ему, что я вычитала. Ему, конечно, было интересно, но, видит бог, у него были и другие дела, помимо того, чтобы выслушивать мои реляции. Все-таки он терпел, потому что очень хорошо относился ко мне. Кина и его сотрудников я тоже изрядно донимала. У нас и прежде было заведено то и дело обмениваться телефонными звонками, делясь впечатлениями от газет и событий. Но после того, как я почувствовала себя королевой, владеющей несметным сокровищем — телетайпом, я явно стала мешать Кину спокойно работать: то и дело я звонила и сообщала новости. Так как они, в общем, большей частью были все-таки интересны, то Кин не очень возражал. Первые недели две он даже не сердился, что я застреваю в полпредстве до позднего вечера, но потом стал протестовать. Делал он это в свойственной ему очаровательно-иронической манере: но, как бы то ни было, если у человека есть жена, должна она когда-нибудь возвращаться в лоно семьи или не должна? Уж не придется ли нам разводиться?

Сейчас телетайп стал будничным, если можно так выразиться, явлением. Но в 1935—1936 году дело обстояло иначе, и мало кто, я думаю, обладал возможностью благодаря этому чудесному аппарату чувствовать, как бьется пульс мира.

Утром я приезжала на работу и заставляла на полу клубок лент, выброшенных телетайпом за ночь. А ведь мне надо было успеть просмотреть прессу, чтобы делать свою ежедневную устную информацию. Счастье, что я умела быстро работать. В общем, жизнь шла в каком-то лихорадочном темпе, с утра «Ивонн!» — «Мадам!» и до ночи.

И вот в один прекрасный день посреди работы я вдруг почувствовала, что больше не могу. Не могу читать газеты, не могу читать ленты телетайпа, не могу ни с кем ни о чем говорить, не могу думать о чем-нибудь, хоть отчасти связанном с политикой. И вот я, не сказав никому ни слова, вышла из здания полпредства и отправилась в Лувр. Собственно, я даже не знаю, почему пошла именно в Лувр. Мне смутно хотелось посмотреть тамошнего Веронезе. Побродила по Лувру и вернулась в полпредство. Все это путешествие заняло, наверное, часа полтора. Консьерж встретил меня встревоженно: «Товарищ Кин, где же вы были? Товарищ Потемкин спрашивал вас десять раз». Как на грех, именно тогда, когда мне вздумалось любоваться «Браком в Кане галилейской», я понадобилась полпреду. Иду к нему. Он звал меня просто по имени, я была молодой, а выглядела совсем юной. «Леля, где вы были?» — «В Лувре». В первый момент он несколько удивился: видимо, подумал, что были какие-то дела, связанные с Лувром. Но когда я простодушно сказала, что просто не могла больше работать и поэтому пошла в музей, Владимир Петрович ограничился тем, что попросил меня в таких случаях предупреждать консьержа, «чтобы никто не беспокоился». Я вспомнила, какую панику устроил Марсель в мой первый парижский день, когда я исчезла. На этот раз паники не было, но все же нехорошо было так делать. Обещала предупреждать. Такие вещи иногда повторялись: надо полагать, что я просто зарабатывалась чуть не до потери сознания. Но достаточно было вот так часа на два переключиться, чтобы потом быть в состоянии выдерживать темп.

Говоря о Париже, не могу не вспомнить об одном замечательном человеке, которого все мы глубоко уважали и с мнениями которого очень считались. Это был Шолом Моисеевич Дволайцкий, наш торгпред. Когда мы приехали в Париж, ему было всего сорок лет, но он казался старше. Человек высоко и разнообразно образованный, автор нескольких книг по вопросам политической экономики, он обладал той культурой и широтой взглядов и при этом той скромностью

и редкой деликатностью, которые — как заявил мне Кин — должны быть у настоящего большевика.

Мы познакомились вскоре после нашего приезда. Шолом Моисеевич был женат, но его жена Варя, врач Боткинской больницы, не хотела оставлять работу и бывала в Париже только наездами. Таким образом Шолом Моисеевич фактически не имел своего «дома», и очень скоро его домом стал наш. Он проводил у нас почти все свободные вечера, или мы куда-нибудь выезжали вместе. Часто он звонил: «Я приду к вам с одним товарищем, хорошо?» И приходил со своими гостями, никогда предварительно не называя фамилий. К нему люди тянулись: москвичи, приезжавшие в Париж, крупные партийные и советские работники, все знали его и уважали. Из тех, кого он приводил к нам, помню Н. А. Семашко и очень милого Н. М. Гринько, который приходил несколько раз.

Дволайцкий был одним из немногих людей, по отношению к которым Кин никогда не бывал ироничен, и очень прислушивался к его мнению. Однажды, когда Левушка приехал на каникулы из Флери Лез Обрэ, Шолом Моисеевич устроил ему настоящий экзамен по географии и естествознанию и остался вполне доволен. Кин был очень горд, и я тоже. Варя была милая и добрая женщина, я забыла ее девичью фамилию, помню, что их было три сестры и их хорошо знали в Москве — семья с большевистскими традициями, но ничего связанного не могу вспомнить. Судьба ее сложилась так же, как и моя. Я помню, какое страшное впечатление произвел на меня конец: ее досрочно освободили из лагеря и она попала под грузовую машину в первые же московские свои дни.

Шолом Моисеевич привязался к нам искренне. У него не сложились хорошие отношения с Потемкиным и он редко бывал в полпредстве, только по необходимости. Но с нами и через нас он был связан с другими товарищами из полпредства. Он держался просто, очень скромно и естественно.

* * *

Теперь мне хочется рассказать о том, как я познакомилась с Пертинаксом (его настоящее имя было Андрэ Жеро). Марсель как-то раз приехал из Женевы (он приезжал часто) и остановился, как всегда, в гостинице. Он был представителем СССР в Лиге Наций и поэтому ему было неудобно останавливаться в полпредстве. Когда он пригласил меня прийти к нему вечером, чтобы встретиться с Пертинаксом, я очень обрадовалась. Пертинакс оказался человеком средних лет, очень сдержанным и светским в лучшем, а не пошлом значении слова. Меня поразил его монокль, первый раз я видела не на сцене, а в будничной жизни человека с моноклем. Впрочем, потом он его спрятал.

Марсель сказал Пертинаксу, что мадам Кин — большая его поклонница, но при этом не добавил, что мадам Кин читает все статьи Пертинакса, так сказать, в силу служебного долга. И, надо полагать, этому знаменитому журналисту было приятно, что дамы из советской колонии так пристально следят за всеми нюансами в его статьях. Это был 1935 год. В Германии торжествовал нацизм, и Пертинакс, как истинный французский патриот и националист, боялся чрезмерного усиления гитлеровской Германии. Отсюда — логически — он пришел к выводу о необходимости франко-советского сближения и ясно выражал эту точку зрения в своих статьях, которые были образцом логики, четкости мысли и формулировок и свидетельствовали о принципиальности, эрудиции и остром уме их автора.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что Пертинакс был в то время одним из влиятельнейших журналистов не только во Франции, но и вообще на Западе. Марсель знал его хорошо, и в тот вечер они беседовали чрезвычайно откровенно и дружелюбно. Я не знаю, о чем они говорили до меня (я пришла несколько позднее, чем было условлено), но при мне — о чем бы ни зашла речь — Пертинакс производил впечатление прямодушного и благородного человека. Он высказывался о видных политических деятелях своей страны с определенностью, кото-

рая свидетельствовала о том, что у него не только ясный ум, но и громадный опыт, исключительная проникаемость. О ком бы ни говорили, он не отделял политика от человека. Много лет спустя, вспоминая о том, как язвительно он говорил о Лавале, я удивилась необыкновенной точности его оценки. Нет, разумеется, в 1935 году он не мог предвидеть того, что случилось во время второй мировой войны, но он говорил о Лавале как о человеке беспринципном и мелком. Может быть, не точно в этих выражениях, но за точность передачи мысли ручаюсь. Об Эррио он отзывался с уважением...

Ужин подали в номер. От политики перешли к литературе, — собственно, в этом была виновата я, мне было интересно узнать литературные вкусы Пертинакса. Оказалось, однако, что за современной иностранной литературой он не следил. Так как он не знал американских писателей, не говоря уже о наших, я его почти нокаутировала, и тогда он сказал, что я не представляю себе образ жизни, который он ведет уже столько лет: никогда не ходит в театр, никогда не ходит в кино, отдыхает только во время летнего отпуска. У него нет возможности читать беллетристику, — впрочем, его жена читает много. Он вообще не принадлежит себе. Каждый день он пишет статью для своей газеты. Конечно, это не было отговоркой, я понимаю, что так он и жил в самом деле.

Французскую литературу он знал хорошо. Ему было, очевидно, приятно, что я — иностранка — знала ее и любила и рассказывала ему о том, как много значит французская литература для русской интеллигенции. Но он поймал меня на том, что я не читала ни одной книги Мориса Барреса. Тут он хотел взять реванш и стал объяснять мне, что это был замечательный писатель. Через несколько дней я получила две книги Барреса (не помню какие) с визитной карточкой Андре Жеро. Больше я никогда его не видела. Марсель остался очень доволен этим вечером, а я была ему горячо признательна за то, что он дал мне случай познакомиться с Пертинаксом.

Когда Марсель был еще советником полпрества, а затем поверенным в делах, он часто встречался с Женевьевой Табуи, которая печаталась в газете «Эвр» и тоже была видной журналисткой. Я не была с ней знакома, видела ее однажды мельком, она была тогда женщиной средних лет, англазированного вида, в строгом костюме. Энергия у нее была потрясающая — она постоянно летала то в Америку, то в Египет, то еще куда-нибудь, брала интервью у разных политических лидеров. К Марселю она относилась чрезвычайно нежно: когда уезжала, писала ему почти ежедневно; когда была в Париже, все посылала ему горшочки с кактусами (видимо, это была ее страсть). Марсель был равнодушен к кактусам, а о Женевьеве Табуи отзывался, в общем, хорошо. Я не читала ее книгу, но мне говорили, что в ней она даже не упоминает о Марселе.

* * *

Подсознание. Недавно мне приснился Марсель, такой, каким я его знала, и в то же время не такой. Во сне я все беспокоилась, хорошо ли ему. Он сказал, что хорошо, и еще сказал, что я очень счастливая. Счастливая? Может быть.

Я не могу не рассказать о судьбе Марселя. После того, как его отозвали из Испании, Марсель считался «в резерве Наркоминдела» и должен был пройти проверку партдокументов. Проверял его лично Маленков. Марсель в то время жил у нас на Лаврушинском, мы отвели ему лучшую комнату и старались поднять настроение, но это не удавалось. Всех близких людей Марсель принимал у нас. Однажды произошел такой случай: Марселю понадобились фотографии для каких-то анкет. У него был огромный лист: сто маленьких фотографических карточек для удостоверений — все разные и на одном листе, это он привез из Женевы. Фотографии хранились у одной из его близких. Когда он позвонил ей, что ему нужны две карточки, она привезла весь лист. Он отрезал две карточки и хотел вернуть ей лист, но она сказала, что не возьмет, так

как в автобусах давка и она боится измять фотографии. Это было при нас, в столовой, сразу после обеда. Я тотчас сказала, что она права, карточки могут память, и лучше я положу их к себе в стол. Так и сделали. Марсель не сказал ни слова. Когда мы с Кином остались наедине, он сказал мне: «Ты видишь, что она уже его продала?» Дня через два Марсель заговорил все-таки со мной об этом инциденте. Я сделала все, чтобы его переубедить, но он был слишком умен и чуток.

Прошло много времени — все это было летом 1937 года. Маленков изволил Марселя до такой степени, что тот изнемогал от обиды. Однажды мы с Кином днем куда-то пошли и, вернувшись домой, не застали Марселя: он переехал в гостиницу. Оказалось, в письме лично Сталину он написал, что больше не может и не желает терпеть все это, отказывается разговаривать с Маленковым. Если ему, Марселю, доверяют, то пусть все это кончат, если нет — пусть так или иначе решат его судьбу. Отправив это письмо, он уехал от нас, чтобы «не компрометировать». Кин был очень задет тем, что Марсель переехал в гостиницу, я просто ревела, но Марсель был очень решительным и своих решений не изменял. Ко всему этому добавилось еще одно дело: Ивон Дельбос, французский министр иностранных дел, прислал от имени французского правительства письмо Советскому правительству. Он писал, что во французской прессе появились сообщения о том, что Розенберг попал в опалу. Так вот, французы просят учесть исключительные заслуги Розенберга в деле франко-советского сближения и т. д. Марселю это письмо показал Максим Максимович, страшно расстроенный этой инициативой Дельбоса, которая могла только ухудшить положение.

Марсель звонил нам утром, едва просыпался, из гостиницы и большей частью сразу приезжал к завтраку. Когда он позвонил утром третьего ноября, я сказала, что очень прошу ни в коем случае не приезжать и потом позвонить откуда-нибудь. Он понял, что случилось с Кином, и тотчас приехал. Я умоляла его не ездить ко мне, но он сказал, что ему поздно искать себе «другие салоны». Он приходил ко мне каждый день, приносил деньги, велел, чтобы я «не снижала жизненного уровня», покупала Левушке фрукты и все такое, сказал, что, если понадобится, продадим его пишущую машинку. Я тогда очень старалась сдерживаться, но при Марселе плакала, не стесняясь. Он уверял меня, что у Кина все обойдется, потому что у него безукоризненная биография. Я вопреки всему ежедневно ждала возвращения Кина.

Мы много говорили обо всем этом. Марсель — один из умнейших людей, которых я знала, но и он ничего не понимал в том, что происходит. Однажды он сказал, что это амальгама: есть какие-то настоящие шпионы, а все остальное — уму непостижимо. Как-то вечером мы шли по Никольской, мимо аптеки Ферейна, было темно, горели фонари. Вдруг Марсель спокойно и очень ласково сказал мне: «Ты знаешь, девочка, ведь и со мной, наверное, случится то же самое». И когда я в отчаянии стала спрашивать: почему же, почему? — он сказал: «По ошибке, как с Витей». Прошло еще какое-то время, и вдруг он не пришел, а позвонил и предупредил, что несколько дней не придет и чтобы я не беспокоилась. В это время он жил уже не в гостинице, а в одном из наркоминдельских домов.

Прошло несколько дней. Он не звонил. Позднее я узнала, что в тот день Марселя исключили из партии; одним из пунктов обвинения была «связь с врагом народа Виктором Кином». В 1955 году я написала в Главную военную прокуратуру просьбу о реабилитации Марселя. Вскоре он был реабилитирован.

* * *

У меня явно не получается рассказ в «хронологическом порядке», но тут ничего не поделаешь.

Мне хочется вспомнить еще два имени: Ильф и Петров.

Вскоре после того, как мы обосновались в Париже, в конце 1933 года, мне позвонил на работу Ильф, которого я раньше в глаза не видала. Он сказал, что он и Петров только что приехали из Рима и привезли мне какую-то посылочку от

товарищей из полпредства. Не могу объяснить, почему, но в тоне я уловила не то чтобы небрежность, но какую-то снисходительную вежливость, а я такие вещи всегда ощущала и реагировала на них соответственно. Я очень вежливо поблагодарила Ильфа и попросила оставить эту посылочку консьержам. Вероятно, он мгновенно понял, что тон был взят не вполне правильный, — он был очень умным и очень тонким человеком. Он спросил, нельзя ли передать мне лично, и я сказала, что это, разумеется, возможно. «Когда?» — «В служебные часы, в таком-то кабинете». Он пришел в тот же день, сказал, что, не спросив разрешения, назначил Петрову свидание у меня. минут через сорок.

У него было очень любопытное, своеобразное лицо, немножко прямоугольное, сосредоточенный взгляд из-под толстых стекол очков, высокий лоб, тонкие брови, пятно на губе, которое его не портило. Разговор был непринужденный, но довольно банальный. Пришел Петров, красивый, веселый, очень открытый и дружелюбный, я его тоже раньше не знала. Он тотчас захотел поговорить по телефону с Кином, сказал ему, что они «напрашиваются в гости». Кин просил условиться со мной, и я пригласила их к нам на следующий вечер. У нас были Марсель, Люба, Антон с Соней, еще несколько полпредских товарищей. Ильф меня немножко удивил: когда мы остались на какое-то время вдвоем, он вдруг рассказал мне о своем разговоре с одной девушкой, о которой я понятия не имела, и спросил, что я думаю об этом. Но я не умела разгадывать психологические ребусы.

Через несколько дней в полпредстве была вечеринка: провожали одного сотрудника, возвращавшегося в Москву. Кин не поехал, а мне было неловко не быть. Ильф и Петров оказались там. Ильф сказал, что он хочет сидеть со мной рядом за столом, чтобы «сплетничать». Мы провели приятный вечер, «сплетничали» (я ему объясняла «кто есть кто»), и я, может быть, выпила лишний бокал шампанского, хотя вообще пила мало. Ильф тоже выпил. Было уже около двенадцати, когда он пошел провожать меня домой. Шел мелкий парижский дождик, приятный и не надоедливый. Не знаю, до сих пор не знаю, что со мной тогда случилось, обычно я не бывала такой бестактной. Факт тот, что я вздумала выражать свое мнение о романах Ильфа и Петрова, хотя Ильф меня ни о чем не спрашивал. В общем, я сказала то, что я думала, и то, что тогда казалось мне справедливым, и высказалась резко: что это книги для советских обывателей, что нельзя всерьез считать такой юмор первосортным, когда на свете существовал, например, Марк Твен, и так далее и тому подобное.

Видимо, эта неожиданная, невежливая и ничем не вызванная тирада произвела на Ильфа впечатление. Он перешел в оборону, и горячо. Он мне сказал, что я сноб, что их книги читают миллионы людей в разных странах и что это — литература, а не второй сорт. Мы уже подходили к дому № 148 на рю де Вожирар, я как-то сразу стала совсем трезвой и чувствовала себя очень неловко. Мы простились, и я, поднимаясь домой в лифте, уже ругала себя за дурость. Кин не спал, он что-то с увлечением читал, и когда я сказала ему, что сделала страшную бестактность, он отнесся к моему рассказу с полным равнодушием: все дело, конечно, заключалось в том, что сам Кин относился к творчеству Ильфа и Петрова тоже достаточно сдержанно.

Утром я поехала на работу в отвратительном настроении. Минут через десять Ильф позвонил по телефону и сказал, что он дурак, что вчера шел дождь, а я была в открытых туфельках, и он не догадался взять такси, и вдруг я простудилась... Такое рыцарство меня тронуло. И когда Ильф спросил, можно ли зайти ко мне, я ответила: «Да хоть сегодня». Он пришел к концу работы, и мы пошли бродить по городу. И так бродили несколько часов, зашли в кафе «Луи XV», в котором я сидела одна в первый день, когда приехала в Париж весной 1932 года. С неделю, наверно, мы ежедневно гуляли по городу.

Мы очень подружились. Они остались в Париже на некоторое время и должны были написать там какой-то сценарий, который в конце концов все же не получился. Потому что он был связан с французской темой, что ли, и у них не вышло. Не помню, сколько времени они прожили в Париже, мне кажется, месяца два. Од-

нажды я немного прихворнула, Ильф пришел встревоженный и принес мне «игрушку»: маленькая деревянная негрятинка — черное туловище, коричневые лицо и шея, белая шапочка, желтый зонтик в руке. Стилизованная, очень милая. Она и сейчас у меня, хотя немножко покaleченная, висит на стене; в те годы, когда меня не было в Москве, она уцелела каким-то чудом.

С Ильфом всегда было очень интересно разговаривать. Мы много говорили о книгах и о людях, мне всегда было с ним легко и приятно. Его суждения были лаконичными и точными. Он ни в какой мере не был циничным, но, мне кажется, и не был склонен идеализировать людей. Он совершенно не был остряком, у него было для этого слишком много вкуса. Но он выдумывал разные смешные вещи. У меня был чайник, который свистел, закипая. Ильф «обыграл» его и даже спрашивал о нем в письмах. Один раз вышла такая история: я пошла в Лувр, народу было много, и вдруг слышу знакомый голос. Метрах в десяти впереди меня — Ильф и три дамы: наши дамы, из лондонского полпредства и из Варшавы. Ильф «объяснял» им картины очень как будто «профессионально», но на самом деле бог знает что говорил. Я некоторое время шла за ними, незамеченная, и слушала. Это было занятно, я понимала, что он просто развлекается, пародируя некоторых вульгарных искусствоведов. Вечером я начала цитировать его сентенции. Сначала он сказал, что это какая-то мистика, — откуда я знаю, но мгновенно овладел положением. «Опять вы ничего не понимаете, — сказал он мне самым серьезным тоном, — они все равно ничего не запомнят, зато у них останется воспоминание о том, как знаменитый писатель Ильф беседовал с ними об искусстве». Ну как с ним было спорить?

Один раз Ильф сказал вещь, которая меня очень тронула: он поблагодарил меня за то, что я ни разу не спросила о том, как они с Петровым живут вместе и отчего у него синее пятно на губе. Он сказал это шутливо, но в то же время серьезно. Мне было жаль, когда они уехали, прогулки и разговоры с Ильфом вносили что-то очень приятное в мою парижскую жизнь.

Мы увиделись, когда я приехала в Москву перед съездом писателей. В дни съезда я почти все время была с Ильфом и Петровым, потом уехала на Клязьму, в дом отдыха Наркоминдела, и Ильф приезжал туда ко мне. Первый его приезд был сенсацией (когда выяснилось, кто это такой, обитатели дома отдыха даже разволновались, и я воочию убедилась в популярности Ильфа и Петрова). Он только одну свою книгу подарил мне: «Как создавался Робинзон». Ильф, мне кажется, был рад, когда я хвалила книгу.

Потом мы опять увиделись в Париже, когда они возвращались из поездки по Америке. Ильф был уже очень болен (в Америке у него обнаружили каверну в легком). Петров на этот раз не отпускал его ни на шаг от себя. Мне кажется, это был февраль 1936 года. Они вскоре уехали, а в апреле и мы вернулись в Москву — окончательно. Судьбе было угодно, чтобы мы поселились в одном доме, в одном подъезде: это был писательский кооперативный дом в Лаврушинском переулке. Не помню, когда мы въехали в этот дом, — в конце 1936-го, кажется. Еще не успели поставить телефоны в квартирах, висел один внизу, около лифта. Я помню весенний день 1937 года, я спустилась вниз и говорила с кем-то по телефону. Погода была хорошая, я была нарядная, оживленная. По лестнице спустились Ильф, Петров и кто-то третий. Те двое поздоровались и прошли, но Ильф задержался, подошел ко мне и очень мягко, тихо спросил: «Вы долго будете разговаривать?» Почему же, почему мы бываем подчас такими нечуткими и деревянными? Почему я не почувствовала, что он хочет что-то мне сказать, и не прервала своего телефонного разговора?

Он отошел. Больше я не увидела его. Я не знала, что Ильф обречен. 13 апреля он умер.

* * *

Живя в Париже, мы не теряли связи со своими друзьями в Италии. Приезжала Муся, приезжал «нефтяной король» Альберг, все время приходили письма, мы следили за прессой. Можно было представить себе обстановку и моральную

атмосферу в стране в связи с итало-абиссинской войной. Пропаганда войны, самый характер этой пропаганды носили на себе явный отпечаток стиля, присущего Бенито Муссолини. Не помню, кто напел мне «Фаччетта Нера», — говорили, впрочем, что дуче эта песенка не нравилась. Но весь арсенал фашистской демагогии был пущен в дело. За годы, проведенные в Италии, я так хорошо изучила ораторские приемы Муссолини, его мимику, жестикуляцию, что как будто видела его, когда он провозглашал установление империи. А как мелко и гадко повели себя фашисты по отношению к Хайле Селассие: известно ведь, что итальянской прессе было дано указание ни в коем случае не называть его негусом или экс-негусом, и только рас Тафари. Вполне в стиле Стараче, но думаю, что сам Муссолини унижился до такой мелкой мести, без него вряд ли решились бы на это.

Мы были в Париже, когда в самом начале 1935 года там состоялось международное совещание фашистов из различных стран. В числе их было много немецких нацистов, был пресловутый Гибслинг, чье имя стало впоследствии синонимом предательства, были англичане, ирландцы, были, разумеется, и французы и итальянцы, и председательствовал, насколько помню, итальянец. Именно тогда Муссолини объявили главой нового строя и дуче международного фашизма. А первого мая 1935 года Муссолини принял в Риме представителей Международной студенческой конфедерации, которые заявили, что считают его духовным вождем всей молодежи мира. Об этом мы читали и в итальянских, и во французских газетах. Все это преподносилось помпезно.

* * *

Минуя множество личных событий, перехожу к весне 1936 года. Кин настойчиво ставил вопрос о возвращении в Москву: мы прожили в Италии и во Франции почти пять лет, и нам обоим хотелось вернуться на родину. Наконец это было согласовано. В начале апреля мы должны были уехать. Мы уже привезли Левушку в Париж. Прощание с семьей Бесс было трогательным, и весь поселок прощался с нашим мальчиком. Все так полюбили его, и напоследок каждый находил для него ласковое слово, женщины выходили из своих домов, чтобы поцеловать его, а школьный учитель сказал нам, что наш сын станет когда-нибудь большим человеком. Я уже сдала дела в полпредстве и укладывала книги и вещи, когда позвонил Потемкин. Он сказал, что Максим Максимович Литвинов хочет познакомиться со мной и чтобы я на следующее утро к 10 часам пришла к ним (Потемкиным) завтракать. Знакомство произойдет за завтраком.

За то время, что мы жили в Париже, Литвинов был там несколько раз, но у меня, конечно, не было возможности быть представленной ему. Его неизменно встречали и провожали полпред, советники, атташе полпредства, корреспондент ТАСС, торгпред — в общем, те, кому полагалось. Я видела из окна, выходившего во внутренний двор полпредства, как Максим Максимович идет по двору, но никогда даже голоса его не слышала. Теперь мне предстояло знакомство с ним, и я, конечно, была очень взбудоражена. Во время этого приезда Литвинова его сопровождал новый генеральный секретарь Наркоминдела Эдуард Гершельман, славный и одаренный человек, с которым я раньше была знакома в Москве. Я знала, что на завтраке будет присутствовать и Марсель, который приехал из Женевы, чтобы познакомиться с нами перед нашим отъездом на родину.

Разволновалась я ужасно. К Литвинову я относилась с безграничным восхищением, и не я одна. Надо ли говорить о том, каким он был замечательным человеком? В те годы любое его публичное выступление превращалось в событие. Вскоре после того, как мы приехали в Париж, в декабре 1933 года, Литвинов выступил на IV сессии ЦИК СССР. Мы читали его речь не только с интересом — это слово недостаточно передает отношение к «папаше» (так, говоря между собой, называли Максима Максимовича по старой его партийной кличке). Точность, лаконизм и безупречная логика его выступлений, смелость мысли и остроумие, огромное чувство достоинства, с которым он представлял нашу страну на международной арене, — все это нам глубоко импонировало. В той речи на сессии ЦИК

Литвинов дал сжатый анализ положения в мире. У меня сохранилась книга «Внешняя политика СССР» издания 1935 года, и я внимательно перечитала ее. Она и сейчас производит очень большое впечатление.

В своем, как он скромно выразился, «сообщении» Литвинов ни разу не прибегнул к штампам. Он дал обзор основных тенденций в развитии международного положения за последние пятнадцать лет, то есть за все годы после Октябрьской революции.

Литвинов сказал, что после первой мировой войны весь капиталистический мир стал на время пацифистским. У побежденных стран отняли все средства для ведения войн. Страны-победительницы «не были до поры до времени заинтересованы в дальнейших войнах». Они попытались было выступить против «новой международной силы в лице советских республик, но для этой войны оружие их оказалось притупленным». Затем Максим Максимович говорил об антивоенных настроениях в среде мелкой буржуазии. Он отнюдь не сбрасывал со счетов психологический фактор, говоря об эре буржуазного пацифизма.

Я отлично помню, как Литвинов осенью 1933 года поехал в Америку. Его сопровождали два молодых талантливых советских дипломата: генеральный секретарь Наркоминдела (фактически это означало: помощник наркома, непосредственно работающий и разъезжающий с ним повсюду) Иван Анатольевич Дивильковский и заведующий отделом печати Константин Александрович Уманский. По пути в США они на несколько дней остановились в Париже. С Уманским я была знакома, и мы были в хороших отношениях. С Дивильковским встретилась впервые. Вскоре он был назначен первым советником нашего полпредства во Франции, и мы очень подружились.

Оба они погибли трагически. Дивильковский — девятого августа 1935 года в автомобильной катастрофе. Он сам вел свою машину, в которой находилась его жена и двое маленьких сыновей. Мне тяжело писать о подробностях. Все остались целы и невредимы, а он умер после нескольких часов ужасной агонии. Уманский много лет спустя погиб во время воздушной катастрофы. Я помню, какими веселыми, возбужденными были они оба в те дни. Им предстояло быть свидетелями и даже некоторым образом участниками важнейшего исторического события.

Мне хотелось не опозориться и не ударить в грязь лицом, когда разговор зайдет о высокой политике, — я не сомневалась в том, что такой разговор произойдет. Разумеется, я помнила, что в Женеве когда-то Литвинов сказал Кину несколько теплых слов о моих работах, и это меня немножко обнадеживало, но все-таки этот предстоявший разговор меня очень волновал. Дело было, разумеется, не в том, что меня хотел видеть нарком, а в том, что это был Максим Максимович, «папаша», личность в моем представлении почти легендарная.

Итак, мы сидим за столом, знакомство состоялось. Мне приятно, что прошли первые минуты. Литвинов вблизи не такой, каким он мне казался из окошка. Он старше, у него неожиданная для меня манера говорить. На меня он не обращает решительно никакого внимания и оживленно беседует с Марьей Исаевной насчет каких-то сортов колбасы, в то время как я все это воображала совсем иначе. Все было чрезвычайно прозаично. За столом сидели Максим Максимович, Марсель, чета Потемкиных, Эдуард и я. Марсель мне улыбался, накануне вечером он заглянул к нам и знал о всех моих тревожениях. Владимир Петрович был, как всегда, приветлив и благодушен. Завязался общий разговор, но какой-то бесцветный, о том, о сем. Я все ждала, когда же речь зайдет о политике. Ничего подобного. Никто — ни слова.

Потом заговорили о кино. Мы тогда были все в восторге от фильма Чаплина «Новые времена». Всем было известно, что Литвинов — страстный «киношник». Когда он бывал в Париже, то зачастую смотрел в один вечер два фильма. И вдруг оказалось, что «Новые времена» ему совсем не нравятся и вообще он равнодушен к Чаплину. Это меня очень удивило, я немножко поспорила. Тогда Максим Максимович спросил, видела ли я фильм «Ночь любви» (уж не помню, чей это фильм), на что я возразила, что «на такую пошлятину не хожу». Мне решитель-

но не везло, наши вкусы не совпадали ни в чем. Заговорили о пьесе Корнейчука «Платон Кречет». Литвинов сказал, что смотрел ее с удовольствием, а мне она решительно не нравилась, что я и высказала. Дошло до того, что Литвинов заявил, что, видимо, у него «более простые вкусы». Завтрак кончился, о политике так и не говорили, и вообще никакого умного, интересного и важного разговора не произошло. Я уехала домой очень разочарованная и сказала Кину, что потерпела полное фиаско у Литвинова.

В довершение позвонила Марья Исаевна Потемкина и устроила мне форменный выговор за то, что я так невоспитанно вела себя. Она была очень славная женщина, с большим чувством юмора, но на этот раз она отнеслась к моему поведению за завтраком не юмористически: по ее мнению, на меня что-то «нашло», что я все говорила наперекор, — «он вам в отцы годится, и все-таки нарком», и так далее. Ну, фиаско, и все тут. Марсель целый день не подавал признаков жизни, и некому было даже поплакать в жилетку, потому что Кин говорил, что все это «бабий вздор». Поздно вечером позвонил Эдуард Гершельман и сказал мне: «Максим Максимович передает вам привет и говорит, чтобы вы в Москве не решали вопроса о своей работе, не повидавшись с ним». Не стыжусь признаться, что я была просто счастлива, — так много значило для меня мнение и отношение Литвинова. Что же касается споров об искусстве, мне пришло в голову, что, может быть, Максим Максимович сыграл со мной шутку. Не знаю.

Наконец настал день отъезда. Поезд уходил в семь часов утра, но на вокзале собрались все — от полпреда В. П. Потемкина до консьержей. Цветов принесли столько, что на немецкой границе к нам из-за них придирались таможенники.

Недели через две в Москве я позвонила в Наркоминдел, и уже на следующий день меня принял Литвинов. Он встал из-за своего письменного стола, пошел ко мне навстречу, очень тепло поздоровался, спросил, как доехали, как Кин, как наш мальчик. Он велел подать чай и очень хорошо говорил со мной. Он сказал, что их наркомат — бедный, оклады невысокие и что я смогу гораздо больше заработать в какой-либо редакции. Однако, может быть, мне захочется работать у них? Я от всей души ответила, что деньги для меня — не самое главное и что я очень хочу работать в Наркоминделе. Так мы и порешили, и я была назначена референтом по Италии и по Испании и работала до осени 1937 года. За эти полтора года мне не часто приходилось видеть Максима Максимовича, гораздо чаще — Крестинского. Но всякий раз, когда вызывал Литвинов, я испытывала чувство большого удовлетворения от одного сознания, что увижу его. В 1951 году, когда он умер, я жила в Грузии. Когда развернула «Правду» и увидела сообщение о его смерти, я рыдала так, словно оплакивала не только Максима Максимовича, но и Кина, и Марселя, и Ильфа, и Дивильковского, и своего мальчика, погибшего на фронте. Вся пережитая боль заново поднялась в сердце.

* * *

В Москве Кин некоторое время работал в ГИХЛе, заведовал отделом современной художественной литературы. Потом он был назначен редактором московской газеты на французском языке «Журнал де Моску». Время было тяжелое, Кин, как и многие другие товарищи, не мог понять, что происходит. Он искал душевного удовлетворения, работая над романом «Лилль», отдыхал он в своей маленькой мастерской за филигранной отделкой каравелл и бригов, которые делал с мастерством, поражавшим знатоков.

«Лилль» к осени тридцать седьмого года был примерно на три четверти закончен. От всей рукописи сохранилось несколько разрозненных страниц, опубликованных в 1963 году в «Новом мире». Но даже эти небольшие отрывки показывают, как далеко ушел Кин от своего первого романа «По ту сторону». Он сам называл работу над «Лиллем» каторжным трудом. В самом деле, этот смелый по замыслу, сложный, многоплановый роман требовал громадного труда и знаний. Конечно, Кину надо было прежде овладеть философией марксизма, пройти школу политической публицистики, массу перечитать и передумать, пожить за границей,

чтобы справиться с «Лиллем». В записных книжках сохранились некоторые заметки, бросающие свет на стиль и интонацию романа. Вот несколько примеров:

«Война, как квинтэссенция всех несчастий. Мелкие несчастья жизни, собранные в ужасающей массе. Снаряд, начиненный мелкими огорчениями. Машина несчастий».

«Примерный набросок картины: пушечный завод. Объявление войны в Германии — в трамваях, в кафе, на заводе, на улице. Разговоры мертвых (справки петитом). В роте. Убийство эрцгерцога. Появление слухов в пограничных городах. Шейдеман у канцлера. Паника».

«Думали ли эти люди, захваченные поразительной новостью, отданные во власть сенсации, целиком поглощенные фактом войны, ее первоначальным видом: пятнами приказов на стенах, передвижением взволнованных толп, криком газетчиков, — думали ли, что они являются добычей историков? Что они одеты в старомодные, подпирющие подбородки воротнички, что их женщины носят шляпы с огромными полями и платья с тrenaми и перехватами на ногах, что их солдаты одеты в красные брюки и синие мундиры образца 1914 года?»

«О Николае — отзыв кавалериста: «Так себе, пехотный цариска. Вот его отец был не такой. Ему налить стакан водки, намешать туда табаку, перцу, гвоздь положить, он сохнет — и ничего».

«Дать семейно-мещанскую картину жизни Николая II. Может быть, играет на гитаре?..»

«О человеке, умирающем с криком: «Да здравствует Лионский кредит».

«...Первый офицер подал команду: шагом марш! И первая солдатская подошва вступила на бельгийскую почву».

«Обязательно вставить в роман историю французских президентов».

Но откуда взялось название романа «Лилль»? Лилль — это небольшая крепость на франко-бельгийской границе. С ней был связан стратегический план немецкого командования. В записных книжках есть заметка о том, «как лежат, зверя, два плана (германский и французский), как их дразнят, как сотрясается письменный стол». «Лилль», роман о первой мировой войне, получался исключительно интересным. В нем действовали подлинные исторические лица, представители германского, французского и русского империализма, императоры, полководцы, дипломаты, контрразведчики. У Кина была собрана обширная литература, нужная для «Лилля», — документация, мемуары, переписка, книги по теории военного дела, по истории, массовые иллюстрированные журналы за несколько предвоенных лет, очень много книг об официальной и тайной дипломатии.

Хочу привести еще один отрывок из записных книжек Кина, относящийся к «Лиллю»:

«Надо документировать роман. В конце книги дать библиографию, примечания к главам, в которых оговорить: откуда заимствован факт. Возможно, в конце дать эпилог. Например, газовой войны в романе нет. Дать в эпилоге сцену, как человек на заводе ходит у баллонов с хлором. Намекнуть на Марну и т. д. Художественным сценам можно придавать внешний характер отчета. Можно протоколировать сцену. Убийство, как пуля (вес, скорость, число оборотов, деривация), проникает в эпидерму, разрывает кровеносные сосуды, дробит кость. Начальная скорость велика — пуля пронзает препятствие. Далее она уже мнет ткани, увлекает их, прессует и при выходе вырывает огромный кусок мяса. Болезнь дать, как описание проникновения бактерий в кровь. (Поведение бактерий, размножение, борьба организма, проникновение ядов в мозг, — бред, образы бреда.) Описание города. Наряду с обычной эмоциональной образностью дать описание канализации, электрической сети (обязательна техническая литература). Что получается, когда в этот развитой организм попадает снаряд».

Нет надобности, мне кажется, комментировать эту запись. Она одна показывает, как сложен, обширен и оригинален был замысел романа. Не могу без острого чувства боли вспомнить о том, что рукопись не сохранилась. И все-таки да-

же сохранившиеся фрагменты показывают, как широко размахнулся Кин, каким огромным шагом вперед был для него «Лилль». И хочется еще раз напомнить слова Кина: «Надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое».

* * *

Мой рассказ подходит к концу. Перечла написанное и вижу, как мало удалось рассказать о Кине, — отдельные факты, клочки воспоминаний, и только. И сейчас, когда уже трудно зачеркнуть все и начать писать сначала (а может быть, получится еще хуже?), я думаю обо всем, чего не смогла написать.

Об оружии Кина — одном из самых страстных его увлечений: дуэльные пистолеты в полированном деревянном ящике, старинные кремневые ружья, шашки, обреза, напоминавший об антоновских бандах, наган, великолепный парабеллум и маленький бельгийский браунинг.

О любви к собакам — он отлично дрессировал их и дружил с ними, и всегда у нас были хорошие собаки, но как-то раз Кин и Багрицкий отправились на Трубную площадь и привели оттуда на Плющиху огромного зверя с желтыми глазами, и он оказался не овчаркой, а полуовчаркой-полуволком, делал что хотел и терроризировал всех в доме, кроме Кина.

Об отношении Кина к деньгам: он с самого начала заявил мне, что хочет жить при коммунизме, практически это означало, что если у нас много денег, я могу их тратить, как считаю нужным, а если их нет, я тоже должна сама находить выход из положения. Кин презирал деньги. Но папиросы он должен был иметь при всех вариантах, это входило в «пакт».

О наших ссорах из-за стихов: во многом вкусы сходились, но не всегда. Я, например, очень любила Пастернака, а Кин нет, и я все пробовала убедить его, и вот как-то, стругая дерево в мастерской, он сказал: «Ну, давай своего Пастернака, выбери, что хочешь», и я прочла стихотворение «Ты так играла эту роль! Я забывал, что сам — суфлер», и Кин стал нарочно приставать, чтобы я ему объяснила смысл, а я рассердилась и что-то толковала про эмоциональное восприятие поэзии, а он смеялся, и все равно я его не переубедила — только зря поссорились.

И о том, сколько было в нем неистребимо-мальчишеского, как он пугал меня. образно описывая, что будет делать, если в квартире начнется пожар: совет веревку из простынь и спустит по веревке через окно сына, меня, собаку, а сам не успеет спуститься и погибнет в огне.

И присущий ему артистизм, разносторонняя одаренность: он просто не мог плоско пошутить, у него был абсолютный слух и незаурядные способности рисовальщика, он не переносил плохой работы и высоко ценил мастерство в любой области, мастерство художника, токаря, журналиста.

И как он ненавидел мещанство во всех его проявлениях, не терпел ни мании приобретательства, ни дешевой сентиментальности (это условно называлось «хрупкая радость»), ни мелкого тщеславия, ни оглядки на «моду», все равно — в литературе или в быту.

И сколько в нем было смелости и душевного благородства: он высказывал свое мнение по любым вопросам откровенно и прямо, не считаясь с тем, что это может кому-либо не понравиться (так понимал он долг коммуниста).

* * *

Ему было только тридцать четыре года, когда он погиб. Он был достойным представителем молодой коммунистической интеллигенции, поколения Матвеевых и Безайсов, составлявших золотой фонд партии и Советской республики. Для близких ничего не может смягчить горечь непоправимой утраты. Но жива книга, общий тираж изданий давно перевалил миллион экземпляров, она вышла в Германии, в Чехословакии, в Болгарии, в Польше, в Югославии, и все это — памятник Кину, еще более значительный, чем мемориальная доска на маленьком домике в Борисоглебске.

А что до меня — если бы можно было начать жить сначала и я знала бы все, что должно случиться, все равно я выбрала бы тот же самый путь, ту же судьбу, которую в счастье и в несчастье делила с Кином.

* * *

Когда я начала писать эти воспоминания, когда мне захотелось их написать, я не представляла себе, что это будет трудно, что это будет связано с большой душевной болью. Сейчас окунуться в юность, сосредоточенно вспоминать о дорогих людях, которых давно уже нет в живых, вспоминать о событиях и переживаниях далеких лет — нелегко.

Не знаю, какими словами выразить чувство, которое владеет мною сейчас. Когда умер Витторини, один дорогой итальянский друг написал мне о том, как важна была его *presenza morale* (присутствие). Я это очень хорошо понимаю. Не знаю, как объяснить это: ведь я не религиозна и не склонна к мистицизму, — но мне кажется, что те, кого мы любим, никогда не умирают до конца. И то настоящее, что пришлось каждому из нас пережить, тоже не уходит до конца.

